

К 1425685

И. Полуянов

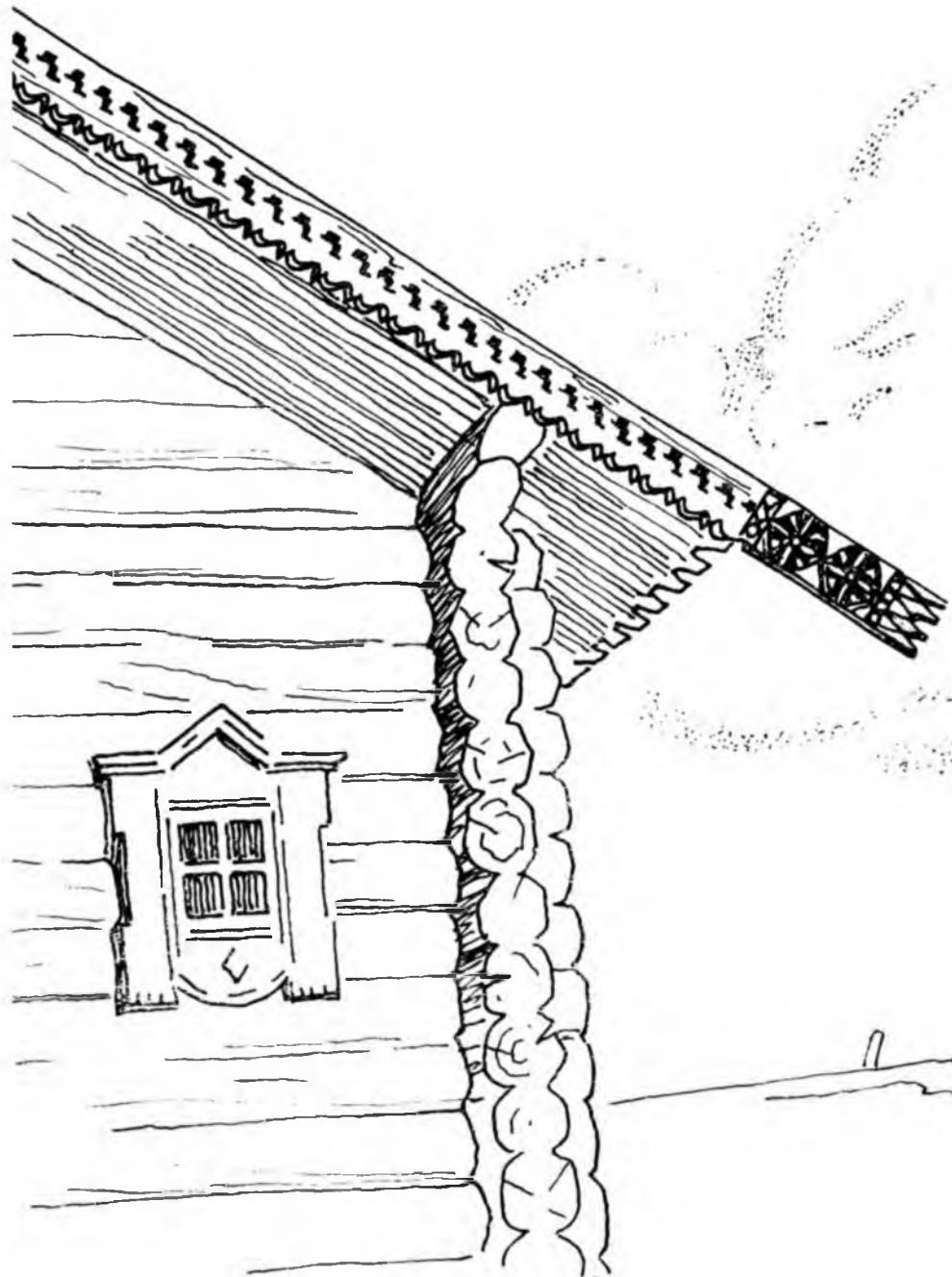


За синей птицей



СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ
КНИЖНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО

1969



И.Полуянов

За синей птицей

(лесной календарь)



Почему январь называют «дедушкой весны»? Что за таинственная «синяя птица» появилась в наших лесах? А цветут ли зимой цветы?.. Множество любопытных сведений о жизни обитателей тайги, о деревьях и травах рассеяно по страницам «Лесного календаря». Читатель как бы побывает и на глухих лесных реках, где водится форель, и у костра на охотничих привалах, вместе с героями рассказов переживет радость открытий и горечь неудач.

Книга Ивана Полуянова «За синей птицей» (Лесной календарь) адресована ребятам, юным лесным следопытам, но с ней не без интереса познакомятся также и взрослые, те, кто любит природу.



НВАРЬ — ВЕСНЕ ДЕДУШКА



Берёз-подростков снежной нависью склонило, загораживают тропы. Встречают березки у входа в лес, и воспринимаешь их, как запретные шлагбаумы.

Закрыты пути. Всё шлагбаумы, всё шлагбаумы...

Но стукнешь лыжной палкой по тонкому стволику — радостно воспрянут березки, отряхивая комья снега. Поднимется шлагбаум. Иди!.. Иди, в глубинах чащи ждут удивительные истории.

Они записаны на снегу. Кто как, кто чем пишет. Кто лапкой, кто ножкой, а сорока и ножкой, и крылом, и хвостом!

Заяц и зубом расписался — вон осину подгрыз! Грыз-погрыз осинку и заковылял к стогу сена. Ляпал лапами, на белую снежную страницу будто кляксы садил. Да струсила, на махах умчался в кусты.

Кто его испугал?

А лиса! У нее уж было чистописание: аккуратненько лапочки ставила, к косому подбиралась. Но он тоже не зевал. Услышал ее и задал стрекача.



Ночью по мелкому березняку приболотья
проскаакала куница
Спешила—по метру делала прыжки!

Вот тут горностай юлил на коротких своих ножках, гибкий, как змея, и в снег лазил. Под сугробом в лунке-копанке дремал бородатый глухарь. Чуть бы — и впился ему в горло горностай! Мышка помешала. Прошуршила рядом. Горностайка и о глухаре забыл. Цоп — и поймал ее. Вылез на лунный свет с добычей. Поволок, рад-довольнеконек. Поволок мышь в свою нору под валежиной, и хвостик мыши оставлял на снегу извилистую черту.

Январь — холода, снег, звериные тропы...

Когда-то величали январь батюшкой, ставили первым, старшим месяцем в году. Тем не менее бывал январь и пятым и одиннадцатым по счету. В древней Руси год ведь начинался в марте, ранней весной — от капелей с крыш,

от ручейков-подснежников. Позднее новолетие отмечали в сентябре — после сбора урожая.

«Сеченем» и «просинцем» слыл январь на Руси. У сербов-лужан — «зимцем», «первником», «новолетником». «Леднем» звали его чехи и словаки.

Январь — каникулы школьные, елка с Дедом-Морозом, с подарками.

Длинна, пышна у Деда-Мороза борода. Так бы и спросил:

— Сколько тебе лет, дедушка?

Сравнительно не много: лишь с 1700 года, по указу Петра I, Россия перешла на новый календарь.

Наши предки говаривали «Январю-батюшке — морозы». Зиме сердка наступает, а стужа того пуще злится: «Январь трецит, лед на реке впросинь красит»: на льду от стужи выступает вода, делает подмокший снег синим. В январе, бывало, бабки внучат страшали: «Нынь мороз-ломонос!» Бегай, мол, да поглядывай, как бы обмороженный нос не обломился. А детворе что: на санках с горы катается и горя мало — щеки краснее яблока разрумянились.

Жестоки январские холода.

Между тем день прибывает. Стужа стужей, но январь — зиме перелом. С января «перезимье» идет, мороз весне весничку подает. Не этой ли приметой народной и рожден обычай, чтобы Деда-Мороза на празднике новогоднем еопровождала юная Снегурочка?

Отступает ночь, раньше солнышко встает, позднее закатывается. «Прибывает день на воробышний скок». И под снегом зелены-зелены раннецветы, прячут в пазушках спеленутые листьями бутоны. И в погожий денек синички веселей поют, зимние трели на вешние меняют, вытренькивают: «Скинь кафтан! Скинь кафтан!»

Неспроста в народе отмечено близкое родство первого месяца года с весной: январь — весне дедушка!

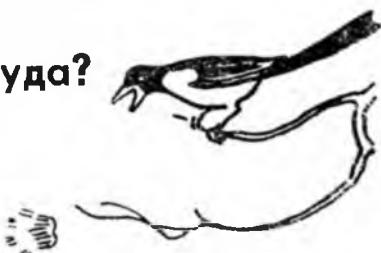
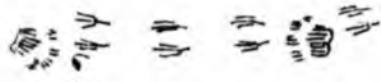
Самое-самое-самое

(ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ФЕНОЛОГИИ*)

Январь — трескун, елки на лучину щеплет, а бывал и мягким. В Вологде таким он выдался в 1949 году, когда в среднем за месяц температура была всего—4,4°, — в три с половиной раза выше обычной за многие десятилетия. Слякоть, дождь со снегом, гололед,—март среди зимы да и только... В свою очередь очень суровым выступил январь 1950 года: среднесуточная температура за месяц оказалась выше 20 морозов — будто Заполярье приединулось к Вологде!

Кто, где? Куда и откуда?

(АДРЕСНЫЙ СТОЛ)



МЕДВЕДЬ — в берлоге, завьюженной снегом, проспит да лапу полежит. Летом похожено, поброшено — намял на ступнях мозги! Отверстие, через которое дышит зверь, — «чело», обращено в южную сторону: ох, не пролезать бы, когда весна желанная капелью застучит! Медведица вот не проспит, раз у нее уже мед-

вежата. Один, два, три или четыре.

ВОЛК — ноги кормят! Сегодня здесь, завтра — за полсотни километров где-нибудь на падали. В ряде мест волки уничтожены еще в 50-е годы. Всего в области уцелело, приблизительно, 70 волков **).

* Фенология — наука о сезонном развитии природы, обусловленном сменой времен года. Сам термин «фенология» появился в 10-х годах XIX в., однако в Вологде регулярные наблюдения за природой велись еще с 1806 г. учителем Алексеем Фортунатовым. Наиболее примечательные явления в жизни природы заносились в летописи с древних времен.

** Здесь и далее численность промысловых зверей и птиц дается по материалам Вологодской государственной охотниччьей инспекции.



ФИЛИН — хозяин зимних таежных ночей.

РОСОМАХА — шляется лохматая зверюга без устали, всюду нежелательный гость. У нас росомах не более тридцати: под Вытегрой, близ границ с Карелией, в лесах и болотах Шолы, Кичменгско-Городецкого, Вожегодского, Никольского районов.

ЛОСЬ — адрес искать нет необходимости: на Присухонских низинах, в виде дымных заводских труб Вологды и Сокола, и то встретишь лежки лосей в снегу, осколенные осины. Этих прекрасных зверей, гордости тайги, насчитывается в области около 15 000.

КАБАН — есть в Вологодчине: в дубняках Бабаевского, в поенным широколиственных лесах Усть-женского районов. Егеря-охотники выкладывают подкормку, без

помощи человека не превозмочь диким вепрям тягот суровой многоснежной зимы.

ГЛУХАРЬ — оседлый основательный житель. Зимой в борах, по болотам. Вылетает утром и зечером щипать сосновую хвою. Если мороз под 30°, то пешком к соснам добирается. Закружит замять выюги, ударят свирепые холода, глухари по трое-четверо суток безвылазно под снегом: голод — плохо, стужа — того хуже.

ЩУКА — всем известна, где ее только нет! После метелей и длительных холодов аппетит играет, и щука промышляет добычу по омутам.

СУДАК — и он непрочно заморить червячка. Потеплело — плавает в закоряженные ямы, к под-

водным каменистым грядам поймать рыбешку другую. Широко славится судак с Белого озера. Есть в Кубенском и Онежском

озерах, в Рыбинском море.

КАРАСЬ — кто в тине спит, кто в лед вмерз... Не страшно, весной оттают — поплынут!

СЕРАЯ ПУШИНКА

Все началось с гнездышка. Домика-шалашика пеночки-трещотки. Брусличные листья и волокна прошлогодних бывлинов, хвоя и мох — решительно ничем крохотный шалашик не выделялся и, скажу откровенно, я его сбил сапогом, тогда увидел. Потому заметил, что выкатились яички. Внутри под покатой кровелькой, так искусно замаскированной, гнездо было выстлано серой беличьей шерстью.

«Ну и ну, — думал я, поправляя кровлю шалашика. — Где трещотка шерстью расстаралась? Серая шерсть, зимняя; летом, когда пеночки шалашики строят, белки красные».

Пеночка — пташка-невеличка. Чтоб она с белки шкуру на пух и шерсть для гнезда спустила? Вздор! Белка, это да, зорит птиц. В том числе беззащитных пеночек в их крытых гнездах на земле. Ворует яйца, птенчиков. Но чтобы с нее самой за воровство волос драли?..

Птички в гнезда носят линнную шерсть лосей, зайцев. Но то заяц. То лось, с которого шерсти-то лезет!

А от белки не велика корысть. Тоже линяет весною, да ее пушок небось ветром разносит.

Странно, что шалашик пеночки набит шерстью.

Очень странно...

Не подобрался ответ к загадке-диковинке, напрасно ломал я голову.

Однажды зимой довелось мне искать елку. На базаре, конечно, какой-нибудь раскорякой обошелся бы: ни виду, ни хвои, слава одна, что елка. Но коль в лес попал, то охота выбрать постройней, а хорошо бы и с шишками.

Глубоко в лес задался. Та елочка хороша, эта еще лучше. Высматривал я новогоднюю красавицу и вижу: у одной к хвойной лапке прильнула пушинка. Серая, беличья.

Средь зимы белка линяет?

Э, что-то не то...

Сунул я топор за пояс. Принялся бродить по ельнику. Круг сделал и наткнулся на беличьи следы. Зверек опав-

шие шишки грыз, кормился семенами. Шелуха насорена, стерженьки шишек валяются.

И тут же, возле елки, следы оборвались. На снегу бороздки крыльев. Не успела в испуге белка допрыгнуть до ближнего дерева, как распахнулись над ней хищные крылья, чиркнули по снегу, и на них и унеслась она неведомо куда.

Кто развязу скотил?

Вязну в сугробах со своими лыжами. Обыскиваю взглядом кусты, вершины деревьев и сугробы. Жаль, ветра нет: ветер навел бы, откуда занесло серую пушинку.

Под сухостойной осиной темное пятно. Капли крови. Будто брусника рассыпана. Сожрать добычу хищник не торопился: сначала ободрал шерсть крючковатым клювом. С хвоста остишки выщипал: вон длинные и темные волоски. Скорняк, право! Выщипывал мех и пускал с осины — у подножия пятно на снегу...

Один такой скорняк в лесу — ястреб. Он пух-перо, шерсть с добычи щиплет, оставляя от птицы или зверька, как белка, грудку перьев да шерсти.

Так вот откуда в гнезде у пеночки могло очутиться так много зимней беличьей шерсти!

То-то и оно: над иным лесным секретом долго ломаешь голову, за ключиком к нему идешь нелегким и окольным путем. Да разве короче бывает и путь серой пушинки в птичье гнездо?

НЕПОКОРНАЯ БЫСТРИНА

По берегам ручья нагромождения колодника, пней-выворотней, коряг-кокор. И все в снегу, все тускло, пасмурно. Затоплен лес тенью. Лишь вершины елок чуть розовеют. Лишь местами на полянах оранжевые мерклые лужайки, где свет заставил тени потесниться, опрокинул их навзничь на снега. А солнце низко, тени удлиняются, словно бы встают, чтобы и на полянах сомкнуться непроницаемой завесой. И давит мороз, и давят, душат текучие тени...

Я сюда хаживал осенью, когда после ночного дождика бывает паровито, туманно и купола муравьищ, просыхая, дымят. Стояли на белых ножках красные грибы, такие свежие, запашистые, что, казалось, шляпки у них с поджаристой корочкой. Прямо с пылу, с жару грибочки, утренней выпечки — клади в корзину, да не обожгись!

Лес жил тогда, полный красок, звуков, возбужденный и
стремящийся праздничный, открытый.

Не то теперь: зима.

Сухо скрипит под лыжами снег.

Тени встают с сугробов. Кокоры, выворотни в снегу. Снегом пересыпана хвоя.

Кормились рябчики возле пней, разгребая снег и скле-
вывая на кочках твердую, как картечь, мороженую бру-
шницу. Следы птиц — крестики. Серые, серые крестики.

Неподалеку звенит, выплескивает вода. Жив ручей. Жив
одной бегучей струйкой...

Мелодия ручья в потаинной лесной глухи незамысловата-
та. А трогает и волнует. Постоишь, послушаешь ее — есть.
есть в ней сила! Сила зимнего леса — молчание. Сила непо-
корной быстринки — движение. Может быть, родился ру-
чей в болотных хлябях, заросших ядовитым багульником,
где змеи меняют кожу. Вытек ручей из погибельных ржа-
вых трясин. Но пробежался лесом, очистил себя от нанос-
ной мути, настоял светлые струп на смородине, насквозь
пропитался за лето прохладой теней, солнце до дна его вы-
светило. И прозрачна, звонка стала вода. И непокорна. Чис-
тое всегда непокорно.

К ручьям сходятся охотничьи тропы-путники.

Здесь тоже скамья для отдыха, срублена из березовых
жердей. В развилке сучьев висит поилка, черпачок из се-
рой бересты. Рогульки-таганок для костра готовы: сырой
воды не желаешь, кипяти чай.

Как через бегучую струйку открылась судьба ручья, че-
рез птичьи крестики вкось и вкось на снегах — смятие
перед нагрянувшей зимой, так через скамью из жердей, та-
ганок я понял: осенью у ручья делал привал хороший че-
ловек.

Старой елке, уроненной ветровалом поперек ручья, обя-
зан ручей, что и в стужу не умолкнул. Ель запрудила ру-
чей. Быстрая течения у лесной плотники не дает воде
замерзнуть. Плещется ручей, будит снежное затишье. Лед у
полыни тонок, серебряно посыркивают пузыри воздуха,
шевелятся и расстилаются по течению ведоросли. Шерша-
вый, в пятнах лишайника ствол елки подрагивает под на-
пором потока, его колебания передаются обледенелому суч-
ку. Сучок мерно дрожит, на нем набухают и срываются в
дымную полынью сверкающие капли.

То бубнит, то звоночком разливается быстринка. Для кого? Кому весть подает, что жива?

И тут я увидел, что елку подрубили, тогда упала в ручей запрудой.

И поет, вызванивает быстринка...

Кто ее слышит?

Охотник делал на берегу привал. Скамья, черничок-поилка и эта запруда его рук дело. Отдыхал, чаек попивал и слушал, как лепечет, колокольчиками разливается, называет ручей. Нарочно срубил охотник елку, — поди, стояла, пренилась к ручью, двух взмахов топора было довольно, и затрещала, пала в воду. Сухая, трухлявая елка.

Был человек наедине с собой, поступал, как душа велит, и дал ручью голос, проникновенный говорок быстринки...

Я вынимаю нож из чехла. Закаменелое на морозе дерево поддается с трудом, не берет его, тупится лезвие. Тогда ломаю хвойные лапы. Выбираю самые густые сучья, ношу их к плотине и укрываю полынью, разломав ее по шире. Засыпаю хвою снегом, утепляю запруду и все прислушиваюсь: звенит ручей?

Не важно, чем ручей рожден: родником, болотной трясиной или топкой луговой низиной. Важно, что ручьями живы реки, как реками моря. Не в истоке дело, дело в исходе.

На глаза опять поладаются птичий следы. Серые, серые крестики.

А, так вот почему держатся рябчики по ручью! Любят они послушать переборы перекатов, плеск и говор, неугомонную болтовню живых струй. Способны часами слушать, как вода прыгает по камням и взбивает рыхлую цену. Бывало, целые выводки рябчиков я спугивал здесь с ольшин.

Кто-то срубил на берегу скамью из жердей. Не для себя одного: если устал, пня довольно посидеть и отдохнуть. Он, незнакомый мне, обстоятельный и хозяйственный, повесил в развилке сучьев на виду берестянный ковшик...

Почему так получается, что лучшее достается не тебе одному, но и другим, кто придет за тобой?

Живая, непокорная быстринка теперь стала немножко моей. Может, кого-нибудь и порадует говор ручья в снежном затишье? Хотя бы рябчиков, и то ладно!

Зачерпнув ковшиком, я пью из быстринки. Черничок вешаю обратно на видное место.

Иду дальше, сухо скрипит под лыжами снег. И мне хорошо, и нет чувства одиночества, затерянности в этой глуши, где мороз, заиндевелая хвоя да серые снега: позади звенит, заливается колокольчиком ручей у лесной плотинки!

СУДЬЯ

С неохотой покинула она лежку в груде бурелома. Потягивалась, разминая спину. Бросала по сторонам пронзительные, недоверчивые взгляды.

Ночь. Безмолвие. Луна. Красная, к непогоди туманная луна.

Тени. Промороженные уродливые тени...

И в самой росомахе появилось сходство с ожившей тенью, когда пошла в ночной обход, держась ближе к деревьям, ныряя на прыжках под хвойную навись.

Невелик зверь росомаха. Есть в ее облике что-то медвежье и барсучье одновременно. Как барсук, низкоросла. Но мех шкуры бурый до черноты, медвежий, и морда толстая, широкая, медвежья. Острое рыльце и глаза словно в черной маске, так белесы лоб и щеки. По бокам и с бедер шерсть свисает попоной, окантованной светлой полосой. Для коротких лап непомерно длинны загнутые вниз когти. Неуклюжа росомаха: бежит, ноги заплетаются, косолапят, лохматый хвост трясеется, как лишний. На лыжах легко ее настичь. О собаках речи нет, перехватят в два счета и посадят на дерево. Вообще-то лазать росомаха мастерица. С гор же кататься вдвое — свернется клубком да кубарем вниз с какой угодно кручи. Камни гремят, прах столбом. «Ай-я-яй», — всполошатся собаки. Суются туда-сюда, пока ищут спуск, росомахи след простыл.

Обмануть, исхитриться ей не занимать стать!

И в засаде сидеть мертвко, и высledить по единственному оброненному перу кормежку глухарей на брусничнике, и по хрупкому льду на брюхе подползти к утке-подранку, и плавать и нырять... Умеет! Умеет исподтишка стащить, что где плохо лежит, умеет и по неделе сносить голод.

Крепостью хищной хватки вряд ли росомаха уступит хоть волку, хоть рыси. Где росомашы и рысьи тропы пересекутся, там лесной кошке приходится туго: чем рысь раздобудется, росомаха отнимет.

На промысле добычи, при всей неуклюжей нерастороп-

ности, росомаха прилипчива и неутомима: возьмется кого преследовать, хотя бы даже лося, сутками гоняет, не считаясь ни с чем, и добивается своего. Ее изжелтые белые зубы способны дробить кости в крошево, наносить страшные рваные раны.

Перед сильным противником она однако падает на спину — лапы вверх. Скулит, хвост поджимая: не тронь, сдаюсь... Но чуть зазевайся враг, когтями распорет ему живот!

Тихоня росомаха — вечная бродяга, скиталица. Бродит где попало, всегда в одиночестве.

Есть в зверином нраве росомахи отталкивающая, дикая черта: с собой забирать голову жертвы. Мясо разорвет на части, спрячет под камни, на деревья, зато голову... Пусть непосилен груз, как лосиная голова: задом пятится, волоком волочит и не отступится, дотащит, куда ей надо.

В трущобе логово, в оврагах закоряженных, буреломных.

Потемки, сырость, ели в лишайниках, тишина глухая, и вокруг кости раскиданы, черепа... Привлеченные падалью, союз ухают и клювами скрипят... Идолово капище да и только!

А у идола — меховая попонка-пелеринка на спине, острое рыльце в маске. В маске наглые глазки, которые и недоверчивы и усмешливы, будто им известно такое, о чем другие и не помышляют, — наивные существа!

* * *

Час за часом росомашы лапы пахали сугробы.

Бег остановила лыжня. Ноздри защекотало дымом.

Любой зверь, будь на ее месте, повернул бы назад: опасно! Человек! Росомаха потыкала носом в лыжню — и прямо вперед, прямо на запах дыма.

Тонула в снегах избушка. Керосиновая коптилка оставлена у окна — для путников, чтоб зря не блуждали по лесу. Да кому сюда идти? Глухоманы! Напрасно мигает крошечным маяком коптилка, никого не заманит!

Поодаль, под елками, лабаз, амбарец на столбах. Складывали в него охотники-промысловики запасную ловчую снасть, продовольствие и пушнину.

Росомаха взбралась на ель. С ее сучьев прыгнула на лабаз. Под когтями громыхнули обледенелые плахи кровли.

На привязях заголосили собаки. Распахнулась дверь избы, выскочил человек — босиком на снег. «А-а, пакостники

тал» Ударила запоздалый выстрел, по еловым стволам пробарабанила картечь.

Чаша уже укрыла косматого пахаря снегов.

Колесила росомаха по лесу. Навестила в сосняке медвежью берлогу. Положив морду на лапы, полежала, вспыхнувшись в дыхание сияющего зверя. Что привлекает росомаху к берлогам зимой, — необъяснимо, как многое остается загадочным в ее повадках.

Потом вновь встретился ей широкий ельничный след лыж. Во всю прыть припустила росомаха. На прыжках спина ее горбилась, ноги сильнее коготапили, неуклюжее гело разворачивалось попрек хода, зверя заносило из стороны в сторону.

Капканы. Деревянные плашки-западни на белок. Петли на рыбчиков.

Как ни мастерски были установлены ловушки, особенно капканы, — росомаха, замечая малейшие отклонения в цвете, в рыхлости снега, помогая зрению нюхом, находила их. Все равно сегодня не везло: никакуне счасти были проверены и за ночь никто не попал.

Лес расступился перед болотистым лугом.

На ольховом кусту ветер качал ободранную заячью тушку. По лугу чаще других встречались росомахи же следы, вероятно, по этой причине выложили охотники приваду. Она выглядела целой. Но подойдя ближе, росомаха узнала: совы на привале побывали, голые ребра у зайца наружу.

К ольхе росомаха подползла, зарываясь в сугроб по уши. Подкопала и выковырила первый капкан. К чурбану присел клепана тяжелая цепь: попадись, тут и смерть, сидя в капкане, на цепи не много напрыгаешь! Где взялась осторожность: толстой неуклюжей лапой бережно очистила росомаха снег, не задев сторожка. То ли подуда на капкан, то ли фыркнула: на нее ставить ловушки? Чтобы она вляпалась седуру в эту железяку? Что за чушь! Второй капкан ей не мешал, однако вынула из снега и только теперь, вцепившись зубами, сдернула зайца с сучьев.

Постарались совы, мясо оклевали дочиста. Наспех поглотив размолотых зубами заячьих костей, потрусила росомаха дальше.

Меркла, краснела луна — к иенастью.

Занималась поземка.

Росомаха остановилась. Слушала, смотрела.

Перелеском шумно продвигалось стадо лосей: однорогий старый бык, бычок с вильчатыми рожками, комолая лосиха и долговязый теленок. Рог матерому быку мешал, воротил голову набок. Разлатый, в десять отростков увесистый рог. Лось бодал стволы деревьев, цеплялся рогом за кусты и сварливо фыркал. Был не в духе, ему не терпелось избавиться от напостылевшей ноши, как избавился от первого рога, оставил его где-то в кустах. Теленок звал мать поиграть с ним, забегал вперед или отставал. Езбрывал дурашливо — уловственный, долговязый, уши лопухами.

Росомаха все видела, все брала себе на заметку.

Ценился та добыча, что достается легко и свободно. Стол же легко, как глухарю зимой еснован хвоя — взлетел на первую пригнувшуюся сосну и набил зоб. Как зайцу основная кора — везде ее довольно. Как выдре-рыболову ее излимы и язи. Мимо налимы плывут, всех забот — поперекирного брюха зубами схватить! Язи, того удобнее, по глубоким ямам стаями стоят!

Росомаха в основном кормилась с охотничьей троны, воруя себе на пропитание из западней и капканов. Кроме того, ног не щадила в поисках падали на сотню верст в округе.

Случалось ей загонять лосей, но весной, по рыхлым глубоким снегам и в гололед по насту, когда лоси становились доступной и легкой добычей: огромные, в тарелку, коныта продавливают наст, лоси вязнут в снегу, острыми кромками наста до крови ранят ноги.

Сейчас середина зимы. Велик риск — обратить на себя гнев целого стада таежных исполинов!

И все же, припадая к снегу, росомаха покралась к берегу ручья — наперерез лосям.

Стаду не миновать перейти ручей. Круты теснины берегов. На откосах снег не держался: выходы подземных вод покрыли льдом глинистую осыпь. Сколько ключей сочилось с берега, столько расцветок льда: от матового белого и синеватого, как подмоченный сахар, до ржаво-бурого и черного в прозелень. В единственном месте был отлогий спуск к ручью, прорытый вешней водой и обросший ивняком. Росомаха залегла в узкой расщелине, и тени сомкнулись вокруг нее.

Лоси — сама мольба таежных сущностей. От леса передалась им сила ~~тишины~~, передалась через обрызганные доской

травы. Через осиновую кору, хвосту сосен и листья берез, напитанных чудодейственными соками. Через солнце, через воздух — целебный воздух сосновых куртин, пропахших грибами и земляникой. И через воду — чистую, прозрачную воду родников и рек, то бурных, то медлительных. Лес, просторы таежные вспоили, вскормили великанов, грозную силу им дали в стройные ноги, в острые всесокрушающие копыта, в пудовые рога.

И росомаха заступила им путь — косолапая коротышка в меховой попонке?

Стадо валило напролом. Тяжелыми тушами лоси глубоко вязли в сыпучем снегу, и за ними синела под луной широкая канава. Разве этих громад удержат сугробы? Трещали кусты, скрипел снег.

Слушая приближающийся грохот, росомаха смигивала веки, чтобы и блеском глаз не выдать засаду. Пасть забита слюной. В горле возникала странная холодящая пустота, заставлявшая поджимать и распускать когти. Минута-две решат все. Одним ударом лапы переломить хребет молодому оленю, перекусить ему горло и захлебнуться горячей кровью... Прыжком настичь взлетающего глухаря... С дерева свалиться на рысь и отнять у нее добычу... Было! Было! Ночи погонь и засад, скитанья по хвойным дебрям, сотни, тысячи километров тайги, хилых, чахлых сосняков студеного приморья... Все было! И весь опыт, всю хищную сноровку требовалось сейчас напрячь ради одной-двух минут, когда решается успех. И потом разорвать теплое, дымное на стуже мясо, растаскать по деревьям, а голову забрать с собой...

В любом хищнике живет судья: карать слабых и опровергать сильных.

Он рисковал, судья. Не мог иначе — таков уж неумолимый закон дикого леса.

Как попало, вразброда лоси пересекали луг. Лосенок смешал походный строй, где его место, как слабейшему, в середине стада, и бык-рогач, занятый боданием кустов, и лосиха спустили ему: мал, пусть подурачится! Ничтожная трещина наметилась в шагающей твердыне лосинного стада — и судья занял место. Ощетинен загорбок, слюною забита пасть...

Самонадеянно шли лоси. Грудью раздвигали кусты. Дурашливый подросток — сил девять некуда! — вдруг ударялся вскачь, забегал вперед, вдруг и отставал, тянулся мягки-

ми губами к ветке осины, показавшейся ему соблазнительной.

До сих пор лоси безвыходно жили в лесной болотистой низине вблизи деревень. Осинник, ивовые заросли на границе топких мхов. Пожни, где в бескормицу можно подтеребить стог с сеном. Посреди топей остров с ельником, служивший укрытием в непогодь... Нужды не было менять такое угодье на другое! Волки давно выбиты. Медведи и рыси окрест не водились. Что же до собак, набегавших в болото, то полают и отвяжутся. К людям лоси привыкли, да и редко встречали людей. В зной легом мошкара и оводы выгоняли лосей к деревням, им выпадало пастись рядом с коровами, и это сходило благополучно, если не считать, что налоедали собаки, да раз бык с кольцом в губе приревновал старого лося к буренкам и вздумал с ним потягаться. Пастухи кнутами отогнали задиру. Правда, лось смирился уступить, послевив исчезнуть до их вмешательства.

А нынче люди затеяли осушку болота под поля и покосы. Ноявились тракторы, канавокопатели, экскаваторы.

Работа, начатая огнем, продолжалась зимой: дотемна, что ни день, грохотало, лязгало металлом болото, шарили по нему фары автомашин, горели костры, и лоси в конце концов расстались с обжитым краем.

Комолая лосиха — на переходе она главная — повела стадо в дальние, знакомые ей по детству места.

Не только к людям привыкли лоси, обитаю с ними бок о бок.

Они привыкли к беспечности мирной, ничем не тревожимой жизни.

* * *

Поземка мела — вестник вьюги.

Ближе, отчетливей стук копыт, шумное дыхание.

Стадо сгрудилось перед заледенелым спуском. Росомаху обдало теплым запахом. Ноздри затрепетали. Она сжалась, как пружина. Задние лапы нашупали точку опоры. Пропустив переднюю, осторожно ступавшую по спуску лосиху, росомаха обрушилась сверху на лосенка.

Хрип, стоны... Неразбериха и сутолока... Негде великанам развернуться: впереди скользкий лед, по сторонам крутизна откосов!

Лосиха одним прыжком одолела ручей. Старый рогач растерянно вскинулся передними ногами на обрыв. Хотел выброситься наверх. Отвесна расщелина, посыпались камни, лось оборвался, упал на колени и загородил проход. Лосенок с росомахой на хребте, перепрыгнул через него, в то время как молодой лось-рогач в страхе ринулся в кусты и застрял среди мешанины камней и сучьев. С трудом выцарапался оттуда, ударился бежать назад, к лугу.

Росомаха терзала шею лосенка, который напрасно взвивался на дыбы, чтобы скинуть зловещую наездницу: прилипла, не оторвать.

Ручей в стужу промерз до дна. Выступив на лед, вода застыла гладкой корой. Чиркнули копыта по гололеди и разъехались — лосенок на всем скаку покатился через голову. Упал и придавил росомаху: не успела соскочить.

По льду лосенок проехал на боку и оставил оглушенную ударом хищницу позади.

Поднялся. Сперва шагу не мог ступить. Его трясло и шатало. И шатаясь пошел по ручью, и, оскальзываясь, побежжал — быстрее и быстрее. Кровь из раны пятната снег.

Росомаха опамятовалась, вскочила. Поздно! Подоспевший старый бык вскинулся и опустил на нее копыта.

* * *

Стемнело, тучи накрыли луну, и все утро, весь день было темно, солнце не показалось, сыпал снег, ревел ветер, заивая белые смерчи.

Свистело, гудело в лесу. Раскачивались сосны, мохнатыми лапами обороняясь от порывов ветра, точно схватываясь с ним врукопашную. Сучья, сбитую хвою несло далеко прочь. Гнулись березы. То и дело какая-нибудь елка, запарусив кроной, падала, обломленная у самого подножия, и totчас к ней навивало сумет.

Еще свирепей орудовала метель на равнине. Ветер, перемешанный с сухим колючим снегом, валил лосей с ног.

Всего вернее было бы им лечь и переждать метель.

Стадо упорно продвигалось вперед.

Молодой лось по следам догнал стариков с теленком, и теперь все были в сбое.

Колючая холодная пыль забивалась в ноздри, в глаза и уши — как оглохшие и ослепшие, шли лоси сквозь пургу.

Лосенок от потери крови ослаб, спотыкался: лосиха мычанием звала его за собой, старый, теперь комолый лось — рог он все-таки обронил, — подталкивал раненого грудью, с храпом потягивал в ноздри: и он был измотан тяжелым переходом.

Метель поутихла, когда стадо достигнуло цели — поляны в сосновом островке, в центре обширных болот и гарей. Иссяк снегопад. Унялся ветер.

Очистилось небо от туч.

Были звезды, как минувшей ночью. Была луна и черные уродливые тени. Промороженные вялые тени на омытых лунью снегах. Но то лосиха поминутно водила ушами, слушала, то старый лось просыпался, то все сразу. Лосенок зализал рану, перестала кровоточить, но болела и, забываясь в дремоте, он постанывал. Лосиха, лежавшая рядом, толкала его без жалости: тише!

Лунные тени подтянулись к соснам, поляна искрилась, переливалась осколками битых снежинок — время клонилось к полночи.

Родился в тенях бегучий шорох. Стадо мгновенно выстроилось в круг. Раненый теленок очутился под защитой старших. Не таясь более, лоси ходили по кругу, протаптывая до земли обширную площадку. Храпели, дыбом поднимали шерсть.

Как ни мела пурга, не замела глубокую, широкую борозду лосиной тропы.

Волки бежали вдоль тропы рысью. Шестеро, как один, след в след, ведомые опытной волчихой. А ее вела кровь. Калли крови, вмерзшие в снег.

Бежали волки, растянувшись цепью, и цепью окружили лосей. Как изваяния застыли лоси. Заняла оборону шагающая крепость.

В осаду легли на снег волки.

Тишина.

Лунный свет. Лунные тени.

Молча лежали волки. Не шелохнулись лоси, и раненый лосенок стоял, как все: прижав уши, нагнув голову, отчего казался горбатым. Молод и слаб, но меткий удар его копыта — гнилым орехом расколется волчий череп. Лоси изготовились к смертному бою.

Молча наблюдала, изучала опытная волчиха. Искала и не находила изъяна в позиции лосей. Неожиданно поднялась. За ней рысцой потрусили остальные из стаи.

Как один, след в след. Как один, молча.

Пропал в тенях, в сверканье разбитых метелью снежинок бегущий шорох.

Снята осада....

Отдыхали лоси, жевали жвачку.

И опять то один, то другой, то все сразу прядали ушами, обнюхивали воздух.

Они были приговорены: вечно быть настороже, вечно начеку.

Позади, за лесом, за гарью, на ручье копошились в снегу совы в попытках добраться до того, что было недавно росомахой — идолом с острым рыльцем и меховой попонкой на спине. Судьей — с ощетиненным загривком и пастью, забитой слюной.



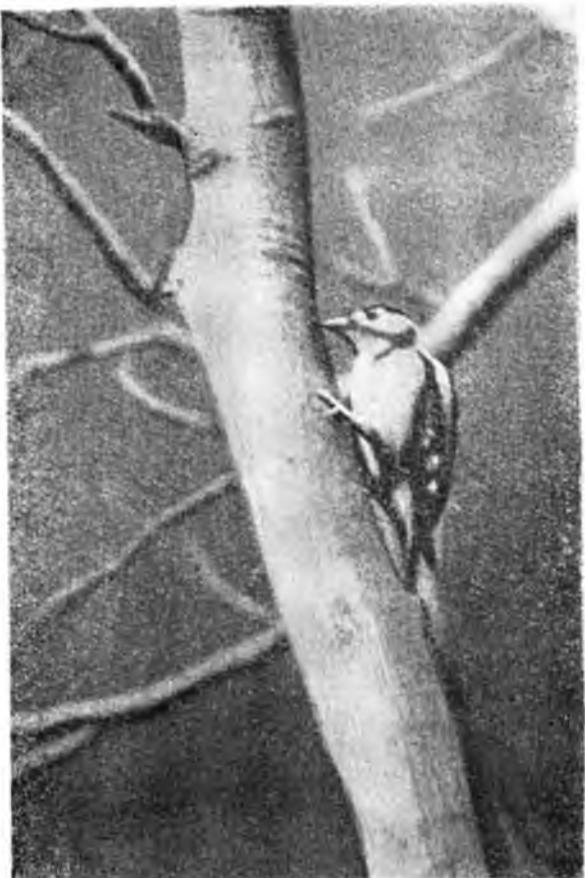
ФЕВРАЛЬ — БОКОГРЕЙ



Ели во всем темном, хвойные подолы приморозили к снегу. Березы стучат обледенелыми ветвями, будто зубами от холода клацают.

Про февраль сложено присловье: солнце на лето, зима на мороз. И верно: мороз, а солнце запригревало. Метнулась белка из зеленой хвойной гущи. Скок-поскок, с сучка на сучок. Нате вам: она на макушке! Жмурится. Кто где солнечные ванны принимает, но белка всегда где повыше. Первая начинает пляжный сезон. Февраль — враль, один бок белке греет, другой студит. Хвостом белка — дерг да дерг. Все равно рада, что она первая.

Зайцы покинули рыхлые снега ельников. Взойдет ночью луна — серебряные рожки, золотые ножки, — и носятся косые. По опушкам, прогалинами. Как шилья калят! Иной лопоухий вдруг примется выкомаривать: и прыжки у него, и на полном скаку повороты. Перед зайчихой выставляется. Зайчиха сидит на задних лапках, передние держит, как дама ручки для поцелуя. А косой возле нее: прыжок влево, скачок вправо, через голову кувырк! Ай да ухарь, хвост одуванчиком — жених, жених!



Поостаяла на пригреве
кора, легче стало ра-
ботать тяжкому хи-
рургу — дятлу.

Курятся поземкой сугробы. К утру, глядишь, метель.
Запуржит — не понять, где небо, где земля.

Сутками не унимаются метели, сутками длится заваруха и стонут, гудят провода...

В такую погоду хорошо очутиться в жарко натопленной избе, гостем какой-нибудь приветливой бабушки-говуны, — то-то рассказней наслушаешься! И, конечно, о масленице — тридцати братьев сестрице, сорока бабушек внучке. Ее праздновали катанием с гор и на санях с поддужными колокольчиками. С блинами и пивом. С гулянием, с ряжеными! Этот праздник возрожден, как проводы русской зимы. Многие же февральские обычай устарели, забыты прочно.

— Раньше-то об эту пору, в Викулов день, пирог с луком пекли, — рассказывает бабушка. — Чтобы счастье в дому было.

Смотрит бабушка в окно. На улице мечутся белые космы зыги, гудят провода.

— Пекли прежде пироги, из избы выставляли: счастье, здешь, заманивали — к нам в избу не зайдет ли?

Дребежжат стекла: под окнами идут грузовики, буксуют в снежных заносах.

Февраль, февраль — кривые дороги... Добавляет он хлопот шоферам! И фары у машин включены, как ночью.

Когда стихнет ветер, то лучезарно сияет небо и чернеют молодо леса. Ни сединки в зеленых кудрях сосен, снежную навись сдуло метелью напрочь.

Мороз. Солнце. Алеют заросли таловых кустов. Желтая синица задорней день ото дня вытrenькивает:

— Скинь кафтан! Скинь кафтан!

И есть кому ее советов слушаться, скидывают шубы-кафтаны. Рыбы, такие как голавли, линии, караси — зимой в «шубах». Слизь на теле выступает. Густая, теплая. Ее рыбаки и зовут «шубой». Душно подо льдом на исходе зимы — рыбе замор. Подвигаются ее косяки к устьюм рек и ручьев, впадающих в озера. На быстрины-перекаты идут гоплавли. Трутся в тесноте — «шубы» снимают...

Последний месяц зимы по древнему календарю и в году стоял последним. «Сечень», «снежник», «лютий», — много прозвищ было у февраля месяца — кануна веоны, когда «зима рог ломает».

Ты. Морозко, не серчай,
Из деревни убегай, —

Нела когда-то детьвора, —

Что за тридевять земель,
Что за тридесять морей!
Там твоё хозяйство
Ждет тебя заброшено,
Белым снегом запорошено...

Самое-самое-самое

Самый холодный вологодский день был 10 февраля 1946 года. В Великом Устюге термометр показал 49° мороза!

Капель — наковаленка весны. Всего раньше — первого января — застучали ее молоточки в 1938 году, очень запоздала капель в 1910 году, когда сосульки с крыш повисли 23 марта.

Кучевые облака — небесный ледоход. В 1932 году он начался 7 января, в 1908 году заставил себя ждать до 17 апреля.

Кто, где? Куда и откуда?



ЕНОТОВИДНАЯ СОБАКА — тепла шуба — не пугает стужа! Но зимой енотка-лежебока спит в норе, а то и в подполье заброшенного хутора, просто в стогу сена. Очнется от дремоты, ухом ловит предвесенние перезвонь синиц. В Вологодчине енотки самовольно расселились из соседних областей.

ВЫДРА — мороз не мороз, странствует выдра-рыболов. Переходы дальние строго по прямой: лесом так лесом, полями так полями. Плотнее заселены выдрой незамерзающие, обильные полыньими перекатистые ручьи и речки (Прионежье, Барабаевский, Тарногский районы,

глубинные водоемы лесов Никольшины, Тотьмы).

ГОРНОСТАЙ — охотится под снегом вблизи гумен, соломенных скирд, кладей льна. Мышей, крыс промышляет. В сенокосных угодьях, как на Присухонье, держится вблизи стогов.

БАРСУК — в оттепели-потайки делает разминку. Появляется на снегу, ковыляет обратно под землю, сны зимние досматривать. Норы по оврагам, на лесных буграх, часто колониями.

БУРУНДУК — погрыз корешков, сушеных грибов и ягод из запасов, да опять свернулся клубочком: рано вставать. Характерен бурундук для лесов северо-вост-

точной зоны области, на западе встречается вплоть до Вытегры.

БОБР — новосел и старожил одновременно. Когда-то обитал повсеместно, однако даже в XVII веке на торжищах в В.-Устюге не бывало среди пушнины драгоценных бобровых шкур. Последние бобры сохранились под Тотьмой до середины XIX века. Первые бобры в Вологодчину вновь попали в 1949 году из Белоруссии. С тех пор их завезено 372. Имеется девять крупных поселений-заказников в Вытегорском, Тотемском, Харовском, Нюксенском и некоторых других районах. Бобров у

нас более 1400. На исходе зимы сказывается оскудение запасов с осени заготовленного корма: веток, осиновой коры. Бобры роют подснежные ходы к зарослям ивы, в мягкую погоду выходят и на поверхность снега.

СЕРАЯ ВОРОНА — «Кар-р.. Кар-р!» — глядят серые на полях. Тучи их, просто тучи! Готовятся в обратный путь на Север. Веду у нас, под Вологдой, зимуют вороны Архангельска, Нарьян-Мара и других северных местностей, наши же вологодские проводят зиму на широтах Подмосковья и южнее.

СНЕГОВИК

Голубыми ручьями растекались тени, словно бы дымя на снегу. Вспыхивал искрами, горел снег, и березы на солнце пылали голубым огнем. Вот-вот тени дымные, все их ручейки вспыхнут, — так много света в зимней березовой роще!

Она среди полей. Скорее не роща — перелесок со множеством пешеходных троп и наезженных дорог.

Только приглядись, в каждом лесном уголке, будь то крепи хвойные, закоряженные ветровалом, все во мках и хвоцах, в колоднике и лужах застойной воды; будь то бор сосновый — красные стволы, горячий песок, смолистая истома коры; будь то черемушник по ручью, где пахнет сырой травой и дикий хмель обвил кусты, — в любом уголке есть свое, неповторимое. Дебри дремучие выражают себя гулом верхового ветра в непогодь, а роща молодых берез в полях — она чем?

Может быть, ручьями теней? Или белыми стволами?

Гомонили в роще синицы-лазоревки.

Не часто попадаются лазоревки на глаза. Я на лыжах к ним — они от меня. Пугливые очень. Снялись дружно стайкой.

— Си-си-си, си-трэ-та-та, — прокричали. Прошумели крыльышками, и нет никого, одни ручьи теней, белые березы и голубое небо.

Жаль, что не подпустили. По красоте оперения лазоревкам нет равных среди синиц. Солнечная желтизна грудка. Зеленовато-голубые крылья. Лазурные хвостики. Темя и затылок темноголубые... Лазоревки, одним словом! Порхнули с берез — как полевые цветы рассыпались в воздухе.

Не лазоревками ли и выражает себя зимняя березовая роща? С голубизной текучих теней, с солнечными лужами на снегу, с белой корой и коричневыми, в лиловой розой сучьями нашла она себя в этих синичках. В красках их оперения, в переливе их трелек:

— Си-си... тре-те-те!

Черным заштрихована береста. В странных непонятных значках белая кора. Будто ноты записаны.

— Си-си, — тоненькими голосками пропели лазоревки. Напоследок прищелкнули дробно и в разнобой:

— Тре-те-те!

И будто кто звонкой палочкой прошелся по березовым тутым стволам: тре-те-те!

Белые щечки, черно-голубой ошейничек, голубой пух на хвостья, ножки и то голубые, — рассыпался полевой букет. Трепеща крыльышками, и улетел. Улетел, а березовая роща показала мне сияющую задушевную свою глубину, и слышу я, и не смолкнет во мне музыка ее стройных стволов. ее ручистых дымных теней и тонких сверкающих на солнце ветвей.

— Си-си... тре-те-те! — опять сыграли лазоревки по кортам белой коры и смолкли. Знать, нашлось им чем клюзы занять. Попалось съедобное.

Впереди прогалина. Заснеженные кусты можжевельника.

Выглянул я. А на прогалине-то снеговик!

Кое-как, грубо скатаны два шара, поставлены друг на друга. Кособочится снеговик. Нелепый и нескладный. На голове дырявая кастрюля. Ручки совсем, как уши. Нос — еловая шишка. Брови тоже из шишек.

Э, брат, пейзаж ты портишь!..

Метла бы снеговику положена. Метлы нет никакой. Еще повысунулся я из-за березы, вижу — держит снеговик крышку фанерного ящика. Тара небось была. Ящик из под конфет или печенья. Что-то там такое насыпано, и прыгают лазоревки по подносу, клювы тюк, тюк.

Ловко, ловко! Ну и кормушка!

Завидели меня лазоревки — пых-порх. Насмотрелся, пусты летят.

И думал я теперь, что вся звонкая душа серебряной зимней рощи в этой вот нелепой снежной фигуре: кастрюля на круглой башке, вместо носа еловая шишка, прижат к груди фанерный поднос — эй, не зевайте, угощаю!

Вели к снеговику следы лыж. Узких лыж — ведь рощей бегают в школу деревенские ребятишки...

ОЛЯПКА

Со стужи я зашел обогреться в дежурку межколхозной ГЭС. Мало-помалу дежуривший на станции монтер разговорился и между прочим выложил, что с нынешней зимы держится на реке диковинная, как он сказал, «жиличка».

— Из себя невидненькая, со скворца. Голос приятный, распевает — мороз ей, не мороз! Вежливая: иду линию проверять, загодя неизменно раскланяется, как поздоровается. Ей-ей, не вру!

Он сдул с губы приставшую крошку табака и улыбнулся.

— Ей-ей, поклоны бьет! Жиличка-то... За знакомца признает, что ли? А летает она, будто к воде привязана. Талица — поворот, и птаха делает поворот. Стелет и стелет над рекой, ровно план снимает: ни одной извилины не пропустит. Махает крыльшками, летит, да и ныром в реку. Ей-ей, правда истинная, — горячо убеждал монтер, размахивая папирской. — Только что крыльшками, значит, воздух загребала, а тут под водой, теми же крыльшками себе способляя, по дну бежит... Или прыгает жиличка-невеличка с камешка на камешек, да и уйдет под лед с головой.

— А что, ГЭС у вас давно работает? — спросил я.

— Третий год.

— Если так, в самом деле интересно. Но увижу ли я вашу жиличку?

— Обязательно! — сказал монтер. — Куда же ей деться? Возле воды ищи.

Бревенчатая плотина за зиму вся заледенела, обросла сосульками, как пещера сталактитами. С ревом вырывалась отработанная вода из турбин, и была она черная, стлалася от нее туман.

После натопленной дежурки на воле дышать стало не-
чем, стужа опаляла горло. Я поднял воротник и направил-
ся дорожкой от столба к столбу вдоль реки.

Прошел я с километр. Река тут не замерзла. Русло из-
вилисто темнело, дымило стылым паром. По берегам гро-
моздились сугробы. Пар оседал на деревьях: каждый пру-
тик был точно из одного иnea вылеплен.

Тропа, проложенная по берегу, повернула за столбами
электропередачи к деревне на бугре.

Что предпринять? Вернуться ни с чем или сугробами
пробиваться? Решил: сугробами! В валенки снегу начер-
пал, вместе с сугробом сполз в реку, ноги промочил... Обес-
печился я, кажется, наスマром! Делать нечего, пройду вон
до тех черемух и — обратно.

Дошел до черемух. Дошел до ольшаника... Нет нигде
жилички-невелички! Вдруг сзади слышу: вроде бы кричит
куличок. Ну да, выкрикивает из-за поворота куличок-пере-
возчик! Вот странно: кулички все ведь на юге. Уж не «жи-
личка» ли это?

Ползком, ползком я обратно по собственным следам. О
промоченных валенках в азарте забыл: успею я застать пе-
вуною? Не успею?

Успел, не улетела!

Рассаживает, вижу, с камня на камень птичка. Бурова-
тая, в белом нагрудничке. Клювом туда, сюда ткнет, шарит
под камнями. Хвостом подрыгивает, ставит его торчмя. Де-
ятельная, подвижная — на месте не постоит.

Спустилась она с камня в воду. Окунает головку, ты-
чет клювом, словно щупом. Глубже и глубже она забреда-
ла, наконец вся ушла под воду...

И вышла на отмель с чем-то светленьким в клюве.

Кого схватила: рыбку-малька, жучка, а может обману-
лась, вынесла из воды бесполезный осколок раковины?

Со слов монтера я составил мнение: жиличка-то — во-
дяной воробей, оляпка. Что «воробей», это понятно. Об-
личье у нее воробышко, характер тоже — живости, задора-то
в ней! И что «водяной» она, ясно: плавает, ныряет, по дну
бегает. Только с какой стати она «оляпка»? Невольно на
ум является поговорка: тяп да ляп, готов корабль. Глядя,
как бойко орудует птаха в реке, разве скажешь — аляпо-
ватая работа!

И еще обстоятельство загадочное — кто подал водяно-му воробью весть, что Талицу перегородила плотина и река, подобно горному потоку, сейчас не замерзает? До постройки ГЭС, я уверен, оляпки на Талице не водились. Они — обитатели незамерзающих, с прозрачной водой ручьев и рек, преимущественно горных.

Что-то светленькое защемила в клюв жиличка-невеличка, выскочив на отмель. Малек, наверное, есть у оляпки наклонность к рыбному столу.

Падать с лету в воду, бегать по дну, точно по сухе, плавать, загребая крыльышками, как веслами, — и все лишь на то направлено, чтобы схватить жука-бокоплава, мальчика? При таком умении, поразительных возможностях столь малым удовлетворяться и при этом еще петь? Эх ты, оляпка! Я покачал головой и усмехнулся.

Стылым туманом курилась река. Розовые лежали сугробы. На омете соломы, распушив перья, корчилась озябшая ворона. Смаргивала ворона озадаченно: нет, улечу-ка я, куда глаза глядят! Бр-р, холодно... Улечу!

А на реке по грудь в воде, задорно, бойко выкликая, хлопотала кургузая птичка. Задирала вверх хвостик, шарила клювом под каменьями...

ПЕРЕСЕЧЕНЬЯ ТРОП

Вскидывая передние лапы на осину, пес скреб кору и зычно, с провизгом лаял: «гам-гам... и-и, гам!» Там зверь, там-там!

Бровень с елями чащобного урочища, коченевшего в лютой зимней стыни, осина была высока и раскидиста. Тяжело чугунное подножье бороздили трещины. Ближе к вершине ствол, гладко круглясь, становился из темного светлым, иззелена-бледные толстые сучья громоздили на себе мерзлые сугробы.

Старик топором сделал затес и сплеча заколотил обухом. Бил, бил — без отзыва глухли тупые удары. Немо и угрюмо каменела осина разлатой громадой. Щепотки инене сронив, ширились сучья.

— Леший возьми! — Запыхавшись, старик кашлял и сморкался. Бороденка, брови в инее, в сосульках. — Возьми леший эту погоду! Выгонишь кого разве на мороз-то?..

Спятился он немного, чтобы и верхние сучья держать в виду. Взялся за ружье. Коли зверь на осине, шугануть его, выскочит!

После выстрелов хлынул сверху обвал белых вихрей.

Снежное облако осело мелкой колючей пылью. Дерево все так же недоступно поднимало крону, сугробов там не убавилось и не подавало оно признаков ничьей жизни..

— Скачи, дикий, — напустился старик на пса, тряс бороденкой. — Времени-то промазали, патроны даром жгу. Облялся, ну? Облялся?

* * *

В зазимье на сквозные голые леса нападают бури. Шквальными порывами ветра крушит сухостой, ломает, валит деревья. Осину расшатало до основания, корни трещали. Отделалась все-таки дешево — потерей нескольких подгнивших ветвей.

Повадился весною к осине дятел, выдолбил на месте обломленного сугна обширное дупло. Оно было высоко, его заливали дожди, пахло дупло гнилью и осталось незанятым, одни синицы-вертнячки иногда после гроз купались в коричневой теплой воде и при этом визжали на весь лес.

К следующей осени под дуплом вырос гриб-трутовик. Белка погрызла его и задергала хвостом: тьфу, горечь! Дупло она очистила от трухи, наволочила с елок сухих лишайников, надеясь за толстыми стенами без лиха провести зиму.

Как-то в ее отсутствие к осине набежала серенькая глазастая летяга. Дупло ей понравилось. Летяга учинила разгром, повыкидав из него, что белка натаскала, напоследок напакостила и скрылась.

То-то цекала потом белка, вне себя от гнева глаза затаивала: да что же это такое?

Больше к осине белка уже не вернулась.

А летяга? Летяга заняла дупло. Совесть совестью, но зима на носу.

Утеплила она дупло мохом. Березовых сережек, кисточек ку-другую бруслики, сушеных опят сложила про запас — зимовать, так зимовать.

Летунья летяга, каких поискать, да вчерашней ночью сонную задушила ее куница прямо на дому: в морозы лягти спят.

Гнездо прогрето, утеплено. Уют, чистота. Тощи они, летяги, вот в чем грех. С постных их харчей не разжириеешь, пробавляются почками. Ну, зимой не время привередничать. Тем довольствуйся, что съят и в тепло попал! Помурлыкав, улеглась куница, чистила языком шерсть.

Голод... Возвещает о себе голод оранжевыми сплохами закатов, которые суютя стужу на стужу, волчьим воем с болот и шепотом звезд из морзной мглы.

Скачет, греется на морозе зайчишка, стежку топчет. Рысь прижалась к суку: спуску ему не даст. Филин разинул хищный клюв, моргает с елки белыми веками: готов насесть. Горностай вытянулся столбиком: своего не упустит... Топ-топ-топоток, — шерстистые заячьи подошвы по снегу. И сколько на них клыков, сколько когтей нацелилось!

Холод. Синие снега. Пустыня хвойная...

Коряжится осина сучьями, каменеет массивным стволом. Недоступно высоко дупло, куда куница проникла с соседней ели.

Последний мазок язычка — порядок, шубка вылизана. Мягкая, шелковая. Другой такой в целом лесу нет. Мех бурый с благородной палевой подпушью. Под горлом, точно солнечный знак, оранжево-желтое пятно.

Свернувшись клубочком, куница затихла. Хвойник, цепнеющий в студеной изморози и снегах, с поднятыми пиками острых вершин, встал ей на стражу.

Ни следа под осиной. Лишь на пути, где пролетал по хвойным сучьям, по висячим сугробам солнечный пушистый блик, осталась едва приметная посорка на снегу: где чешуйка коры вниз упала, где мерзлые иглы обломались, иней осыпался...

И под вечер натекла к осине собака, охотничья лайка.

Разнежилась куница. Ухом не повела на истощные вопли пса: скаки, лохматый, высоко, не допрыгнешь, лапы коротки! Но удары топора... Мягкая, шелковая шерстка от страха зашевелилась. Неминучая беда стучала, гремела обухом!

Горды куницы своей шубкой. Нежат ее, холят. Но, бывает, чем хвалимся, от того и принимаем погибель, и приходит неумолимый охотник: ну-ка, снимай меха, поглядим тебя голенько!

Ни жива, ни мертва от страха забилась куница под мох летяжьего гнезда.

Чуть бы повремени охотник, доверясь чутьюистому псу, она в конце концов выпрыгнула бы из дупла и подставила себя под выстрел. Бежать... Спастися от лая, от грома ружья! Поверху куница носится, прыгая с дерева на дерево, так, что и собака не скоро настигнет. Уйти... Сейчас же! Запутать след, затаиться в хвое!

Старик торопился домой на лежанку:

— Возьми лещий эту погоду. Стужа-то... эк она жучиг, спасу нет.

За ним, поджав хвост, поплелся по лыжне сконфуженый пес.

* * *

Осмерклось, высыпали звезды. Из дупла куница прыжком перемахнула на елку. По ее суковатому стволу, извинаясь гибко, спустилась вниз и стелоющимися скачками помчала от осины.

Скакало солнечное пятнышко галопом. Задние лапы точно попадали в след передним: пятки вместе, носки врозь. По лыжне, по снегу-целику, сквозь хвойную стынь, вверх и вниз по сугробам — пятки вместе, носки врозь...

Река. Шумела река незамерзшими перекатами, дымила седым паром из промоин-талий.

Куница повела носиком. Села, по-кошачьи обняв задние лапы хвостом. Тянула тонкую шелковую шейку. Язычок наружу, раскосые зеленые глазки горят. Любопытно, что тут человек делал?

Он приходил ловить рыбу. Пробивал пешней лунки, опускал под лед верши. Жег костер, кипятил чай и разговаривал с собакой.

Кунице пугающе напахивало текучей водой, головнями, золой. И привлекательно — чем-то вкусным.

Э, да ее опередили! Возле кострища суетился бурый зверек меньше куницы. Это норка вынюхивала объедки. Нашлась ей и рыба, полосатый окунек, вытряхнутый из верши и втоптаный в снег.

Над промоинами клонились с берега черемухи. В сеть их сучьев скользнула куница. Прыжок — свалилась прямо перед норкой. Р-р-р! Спина дугой, до десен обнажены зубы.

Норке одно оставалось — поступиться находкой. Сзади полынья, бежать некуда. Но едва толстые, с виду неуклю-

жие, как валенки, куничьи лапы коснулись снега, норка с окунем в зубах исчезла в полынье.

Утопилась?

Нет. Норка — пловчиха и ныряльщица. Подо льдом не досягаема, как куница в ее хвойнике. Вот и все.

* * *

Стужа, казалось, выжимала из хвои, сучьев, коры остатки влаги и тем порождала седую изморозь. Хмурой жутью замыкались таежные увалы.

Как вымер лес, ниоткуда не напахнет живым теплом.

По сугробам вверх-вниз, прыжок за прыжком летело пушистое оранжевое пятнышко, гонимое голodom.

Еловые гряды редели, спускались к болоту. Натощак зарыться где-нибудь в куче древесного хлама или отважиться на вылазку за пределами чащи? Пустой желудок — дурной советчик. Куница предпочла последнее.

Завьюженную гладь искрешивали наброды волков, лисьи тропы.

Не ее это, не куничьи угодья! Лазая по хилым болотным соснам, нет ли где белок, она утомилась, иззябла. Лапы выпачкала смолой. Наконец слух обласкало тонким, почти комариным писком. Мышь... Мышь! Сумет навьюжил, где валялась трухлявая валежина, ощетинившись голыми сучьями. Нырнув в снег, куница лапкой выудила из-под валежины жирную мышь-полевку. Еще полевка шмыгнула рядом и тоже угодила в зубы.

Куница прилегла отдохнуть. Было тепло, пахло травами, древесной гнилью. Дремалось.

А что там, на поверхности, не худо проверить. Осторожность — прежде всего. Тем легче было прийти к столь разумному выводу, что на животе стало посытнее. Две мышки, теплые комочки, — и пушистый солнечный блик сделалася расчетливо осмотрительным: вот ведь от какой ничтожной малости иногда зависят благоразумные-то поступки!

Из снега высунулась острия смышленная мордочка с плавно закругленными ушами. Лоб, ресницы, усы как припудрены.

Туман зыбился. Плотный стылый туман. В седой мгле терялись одиночные болотные сосны.

Почудилось: с ближнего сугроба снялся клок тумана, вспыхнули в нем пронзительные огни, — пухленькая мордочка живо спряталась.

У земли снег, падая на осоку, мхи, карликовые кустики багульника, голубики, долго хранит рыхлость. Свободно протачивалась в нем куница. Шла под снегом, держа направление на лес. Плавучее облако? Огни? Довольно искушать судьбу! Скорей в хвойник... скорей!

Тут над ее головой снег взметнулся, разлетелся во все стороны и чьи-то лапы бесцеремонно придавили пушистое пятнышко...

* * *

Невесть когда лисица заняла болото, за давностью лет полагая, что оно ее собственность. Допустим, кладовка. С полочками: там мыши, здесь куропатинка, отдельно заячье филе. Да, да, приходится потрудиться! Конечно! Но подкрасться к сонным куропаткам среди ночи — это так волнующе, так захватывает, а гонять зайцев — отличный монцион... Моцион, кто спорит, особенно для рыжей, если она не шажком, если всегда рысцой трусит, притом с миной задумчивой и озабоченной: уж эти вечные хлопоты... Поверьте, хвост расчесать недосуг! Болото большое, хоть разорвись, не поспеть всюду дать порядок. И не понимают меня, не цнят...

Ах, волки?

Не успела им заявить о своих правах. Упущение. она согласна.

Были, да ушли.

В другой раз она не преминет поставить волков на место!

Как вот сейчас она поставит на место ласку. Ишь, воровка, взялась шнырять в чужих кладовках! Есть мыши, но не ваши!

Очертя голову ринулась лиса в атаку. Рыжая — против беленького зверька-малютки...

Куницу она приняла за ласку, цепкого, пролазчивого выиона, который, днюя и ночуя в снегах, ловил мышей с проворством для лисицы немыслимым, чем вызывал у нее приступы черной зависти.

Как копать, лисицу не учить. Пущены лапы в ход. Все четыре. Она же за принципы! Что ей ласка? Принцип, вот

что дорого. Не тронь чужое, и все. В самом деле, разве это мода — шарить по чужим кладовкам? Если зло не пресечь, до того доживем, что порядочные хозяева хоть замки вешай на сугробы!

Надо быть куницей, чтобы и застигнутой врасплох, избегнуть выверенной лисьей хватки. В вихрях инея, снежной пыли выметнулось пушистое солнечное пятнышко. Меня — лапами? Меня — зубами?

Сразу лисий пыл поостыл: вместо белой маленькой ласки — ощетиненная темная зверюга? Старость не радость, значит, впопыхах-то ласку с куницей спутала... Подвел нюх, уши подвели!

И куница вильнула хвостиком. Шерстка улеглась. Может, миром поладим? Мышки, в сущности, пустяк. Не будем мелочны... Впоследствии желто-оранжевое пятнышко со стыдом вспоминало, как, заискивая, вильнул хвостик: мир, ладно? Разойдемся без ссоры, ладно?

Заискивания лисицу возмутили. Что? Как прикажете понимать? Кто-то будет чистить мои... мои кладовки? Это мир?

Когда солнечное пятнышко вознамерилось улизнуть к соснам, путь к бегству был отрезан.

Закружила карусель! Где лисица, где куница — все перепуталось в клубах снежной пыли. Это походило на потасовку собаки с кошкой. Тявкала рыжая: врешь, поймаю! Гонялась, делала неожиданные прыжки. Но легко, как по полу, носились по снегу куничьи лапы, в то время как лису снег держал хуже. Она догоняла, набрасывалась с оскаленной пастью — ее зубы опережали другие зубы, ее когти опаздывали.

Не давалась, никак не давалась темная кусака. Кусака царапучая! У лисы засаднил нос, кровоточили лапы.

Догнать, схватить своего противника рыжая не могла. Не могла и отступиться. Потерпеть поражение на собственном болоте? Ну, знаете ли... Да на измор возьму!

И верно, пушистое солнышко уже обнаруживало признаки усталости. Это воодушевило рыжую. Бодро кинулась она к кунице, чтобы теперь-то покончить с ней. Но в последнее мгновение, двухметровым прыжком солнечный блик отскочил в сторону и нырнул в снег, в старый лаз под валежину.

Не удастся ли отсидеться? Сердце стучало о ребра, не хватало дыхания...

Надо быть лисой, чтобы так стремительно раскопать жесткий снежный пласт и проникнуть к зверьку, обессиленно засевшему под гнилыми корневищами. Пушистый хвостик очутился перед искусанными лапами, перед оцарапанным носом, пылавшим жаждой мщения.

Конец... конец! Заглохнет хвойник без пушистого солнечного пятнышка, лунными ночами летавшего от дерева к дереву, без шелковых лапок, умевших нежно и плавно прикоснуться на бегу к снежной нависи, так что и блестки инея не падали вниз. Конец... конец!

Но что это? Вместо шелковых пушинок перед лапами лисы, перед ее пастью — оскаленные зубы! Острые зубы.. Ловка, увертлива куница, за себя еще постоит! Терять ей было нечего: из последних сил впилась в мокрый, чутьистый лисий нос, предвкушавший победу. Свету белого от боли лиса не взвидела!

Она пятнилась задом. Она скулила и виражала, тявкала: ай-ай! Ошалело молотила толстым хвостом куда попало. Ее шатало сослепу. Бедные мои глаза... Выцарапает! Выцарапает! Мотнула лиса мордой, отшвырнула кусаку... Нос, бедный нос! Ой ноет, ой, саднит!

Миг — и стремглав взлетел солнечный блик на ближнюю сосну-сухостойку.

Что? Не понравилось? Куница возбужденно стрекотала. Не могла успокоиться. Торжествовала и дразнилась. Попало, рыжая? Попало, жадина? Ну-ка достань, достань от сюда!

Поодаль с большого сугроба бесшумно снялось летучее облако.

Удар в темя, оглушительный удар: болтаясь тряпочкой в кривых когтях, куница взмыла, оторвавшись от смотинстой голой ветви.

* * *

Осенью, кочуя из Заполярья, сова-белянка обосновалась на таежном болоте. Оно ей напоминало тундру ровно на столько, чтобы сильнее проникнуться вынужденной разлукой и питать тоску.

Где ты, грохот прибоя о скалы? Где крик чаек и залупывные вопли гагар с залива?

Не услышишь песню ненца, погоняющего упряжку олений, песню гортанную, протяжную и нескончаемую, как тундра. Не увидишь сопок в зарослях карликовой ивы и каменистых оползнях... Чужбина постылая!

Местные совы — они ли совы? Нет, как нет белого, изукашенного крапинами, черными точками ослепительного наряда, как у полярных. Ржавь, белесые полосы, нелепые разводы... У филина и пучки перьев на круглой башке!

До филина сова-белянка, однако, снисходила скрепя сердце: он мог померяться с ней мощью когтистых лап и крючковатого клюва. Зато при свете дня филин не охотник. Сова же белянка днем и ночью на промысле. Стужа ей тоже не помеха, при ее пухе и пере. Скважины ноздрей совы и то прикрыты: нечего бояться простуды.

Куница под снегом она заслышила раньше лисы. Пугнула: ага, прячешься, значит, я сильнее...

Терпеливо караулила сова.

О, лиса туда же — затеяла охоту. Посмотрим, чья возьмет! В тундре белянке не раз случалось обкрадывать псов.

Драка у них, у того зверька и лисы? Прекрасно! Ну, ну же... Больше ран! Кто ослабнет, тот будет мой. Смелее на тиск, зубы в ход. Ну... ну же!

Куница вывернулась, сдается, из самой пасти насевшей лисы и вскинулась на сосну.

Совам неведомы промахи.

Удар клювом! Подхватив обмякшего зверька, белянка полетела в противоположный угол болота.

Скостились пути: подснежный — куницы, и воздушный — заполярной гостьи...

Бесформенным клубком, облаком седого тумана белая сова парила на подбитых пухом крыльях.

Куница очнулась, ее мотало, обвисала тряпочкой. В голове шум, из носа кровь. Мимо, мимо — кусты, чахлые сорны, сугробы.

Седая мгла. Звезды. Звезды — осколками битого льда. Холодные, жгучие звезды... Мимо, мимо!

Планируя кругами, белянка выискивала место, где бы ей расклевать добычу.

Зверек дернулся, но хитро устроены лапы совы: чем отчаяней вырывается добыча, тем неумолимей они смыкаются, точно клещи, и душат, колют когтями насквозь.

Маленькое сердечко стучало часто-часто. Куница задыхалась. Извернувшись так, что, казалось, шубка, шелковая, холеная шубка отстанет от тела, она нашла-таки сил дотянуться до совы.

Перья, пух закачались, невесомо кружа в тумане.

Прянув выше сосен, белянка разжала когти. Пока валился до земли этот темный зверек, она в броске с подобранными крыльями сумеет ударить его в воздухе. Это умно и безопасно. Того вернее сбросить бы его на камни, разбить об острые выступы скал.

Но где вы, скалы? Где вы, сопки?

Сова распустила когти: падай... падай же!

Не тут-то было: клещи ослабли — куница насела на врага. Рвала, кусала. Шипела, урчала остервенело. Белые перья, пух, туча пуха — не подушка ли распорота,пущена на ветер?

Скоротечны воздушные бои.

С перекусенной шеей сова кувырком повалилась вниз.

* * *

Было ясно, солнечно. На елках кричали клесты. Старый высокоствольный хвойник полнился смолистым запахом.

Пятки вместе, носки врозь — бодрым галопом скакала куница под пологом чащи. После схватки с совой-белянкой зверек долго перемогался, прячась в буреломе, пока рана на темени затянулась и рубец оброс светлыми волосками.

Миновала пора холодов, пришла удача в охотничьи вылазки. Наверстывая недели голода, зверек теперь выходил и днем.

Пятки вместе, носки врозь — мелькнуло по прогалине и потерялось за серыми стволами, за хвоей пушистое солнечное пятнышко.

Спустя некоторое время куница возвращалась обратно.

Шла мелкими шагками, неся в зубах рябчика: схвачена птица прямо на дереве! Тяжела ноша, очень-очень приятно тяжела!

Куница положила рябчика и вытянула шею: вон та осина, где гриб-трутовик. Звери памятливы, вспомнились пронзительный лай, выстрелы, свист дроби по сучьям и снежный обвал — все то, с чего началась злополучная ночь. Ночь морозного тумана и треска деревьев от стужи.

Взяв в зубы ношу, куница шагом продолжала путь. Семенили широкие, со ступни опущенные мехом лапки.

Позади раздался шорох. Плавные прыжки тоже ловких, тоже с подошв меховых лапок. Пяtkи вместе, носки врозь... пятки вместе...

Куница обернулась. Спину выгнула дугой. Эй, кто там? Не насыкайся, держись около! У-ух, полетят клочки по закоулочкам!

Но вздыбленная шерсть улеглась, шелковый хвост махнул ласково...

Гордилось шубкой солнечное пятнышко: красивей меха нет на тыщу верст кругом и быть не может! Мой мир, весь мой, куда взгляд падет: деревья — чтобы прыгать и ловить добычу; хвоя, дупла — чтобы укрываться в метели и стужу и сладко спать; ночь с луной и звездами — для охоты... Мое, все-все мое!

Вильнул хвостик с ласковой предупредительностью. Есть... Есть на свете шубка нежней да щелковей. Есть восхитительные грациозные лапки! Свели они с ума героя, победителя совы и лисы, в одну минуту. В ту минуту, когда подбегала догонявшая его куничка, бойко перебирая лапами под хвойной нависью.

Она была такая стройная, юная куничка, с такими наивными глазками и смешливой и умненькой мордочкой, что герой обмер и дух у него занялся.

Не дойдя двух шагов до него, куничка остановилась. Поджав переднюю лапу, в застенчивости потупила головку.

Небрежно герой поднял рябчика: лавливали мы всяких! Бывал кой-кто в зубах! Гордо выступая, он шагнул и положил добычу к восхитительной лапке. К жеманно поджатой лапке с блестящими, как отполированными, коготками.

А где-то в хвойных отрогах лаяла собака, и голос ее приближался...



АРТ — ПОЗИМЬЕ



«Новичок» — прозвище первого дня весны. Дано за то, что вплоть до XV века новый год на Русь являлся под звон колокола, в песнях веснянках подснежных ручьев.

Земля март привечает проталинами, небо — кучевыми облаками.

В полях — пожар. Слепящим полынем охвачены, горят сугробы. Горят, не сгорая.

Воробей в снегу выкупался. Распушил перышки, трещит-чирикает. Счастлив безмерно: зима прошла и, представьте, жив! Потащил воробей соломину — закладывать гнездо.

По берлогам трущобным у медведей-космачей потягушеньки. Один рот и тот надвое дерет. «А-ах!» — зевают медведи и потягиваются. Близится время покидать берлоги.

Волки вернулись к старым логовицам из разбойных скитаний. Ночами дикий вой будоражит окрестности: «У-а... у-у!» Несестественно громадным кажется волк, когда, взметнувшись на высокий угор, запрокидывает лобастую с прижатыми ушами морду и шлет заунывные воили в низкое, тронутое влажной испариной небо...

Лисы — кто бы мог подумать? — в танцы ударились. На задних лапках парами, все парами такие па выделывают, плавные, медленно-важные, — фокстрот, да и только, хвосты наотмашь!

Ольха развесила сережки.

Лилово-бурые, неказистые, мотает их ветер, а и цены сережкам нет. Потому что ольха в лес весну приводит.

Пуховые «барашки» выпростались на вербах. Белеют, как заячий хвостики.

Обогретая, затаяла снежная навись, где солицем достало. Но внизу — синий холод, тень. Падет капля на хвою, мигом застынет. Струится капель, намерзают сосульки, и хвойные лапы стали, как люстры. В полдень зажигаются они, гонят тени из темных ельников...

Март — проба голосов у зимовщиков: овсянок, поползней, корольков, пищух, щеглов, крапивников. Поначалу птички конфузливо сбиваются с ладу, путают зимние наигрыши с весенними. Ну что ж, простительно: первую песенку зардевшись поют!

Молода, не окрепла весна. И так бывает, что в марте теплом даже не пахнет. Дней пасмурных убавилось, да о мартовском солнце неспроста поговорка: «Светит, а Авдотьей смотрит». В марте не тает: сколько снегу с полей, с дорог уберет, того больше сверху добавит.

Март — «позимье». Постоянством не отличается. То назад, к зиме, попятится — бушует пурга, ветрище ледяной рвет провода; то к весне шажок ступит — оттепели, лужи по дорогам, грачий переполох с берез...

В старину водился обычай в марте кликать весну. Сходилась молодежь за окопицу. Ребятишки лезли на заборы, на амбары. Хором кричали:

Весна-красна!
Что принесла?
Теплое солнышко.
Красное летечко...

Пора мастерить птичьи домики. Выставляют их ребята, по-своему сегодня весну зовут-зазывают. Место выбрано подходящее, квартиры оборудованы на разные птичьи вкусы, и селятся близ жилья человека, помимо скворцов, гори-



Мел и сыпал снег, а
следы лося по просеке
занести не смог...

хвостки, мухоловки, стрижи — добром за добро целое лето платят. Но скворцы — без них и весна не весна! Воистину народная птичка! Есть тонкие ценители пения скворцов, умеют разложить его на колена: полукурант, ямщикий свист, ржанье, червякова дудка.

Свищет скворец у тесовых своих хором, весну подгоняет: ну-ка, поторапливайся, заждались тебя!

Самое-самое-самое

Март — самые глубокие сугробы. На льду Чар-озера в 1966 году лежал снег более чем метровой толщины. Что же в лесу тогда было — жаль, никто не измерил!

Однако март — это и первые проталины. На полях под Вологдой они появляются к середине марта. Между тем в 1925 году земля из-под снега показалась 12 февраля, в 1910 году — только 13 апреля.

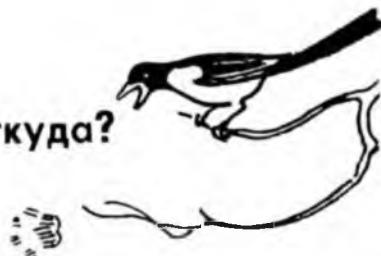
Грач — вестник весны. Когда их вологжане всего раньше видели? 3 марта 1920 года. В 1941 году грачей не было до 8 апреля.

«Ребята, ребята, скворцы прилетели»... Самый ранний прилет скворечка был в 1967 году — 10 марта, самый поздний — 15 апреля — в 1955 году.



А вот и сам лось!

Кто, где? Куда и откуда?



КУНИЦА — солнце заприветствует, обуздой становятся пышные меха! Мама-куничка заранее присматривает дупло для будущей детской — чтобы и теплое, надежное было и с вентиляцией. Вообще у куниц адрес один круглый год: высокостойкие леса-хвойники. Под Вологдой куницы постоянны... даже неподалеку от аэродрома.

РОСОМАХА — детеныши в гнезде. Логовище — яма под вывороченным пнем, кое-как устланная мхом, сухой травяной ветошью и скрытая от снега и дождя хвойной нависью — в труднодоступных дебрях глухи.

РЫСЬ — все еще бездомница. Весной рысь неважный ходок: талый снег прилипает к подошвам лап. Порой по следам видно, как в лапти обута таежная пятнистая кошка!

КОСУЛЯ — начали заходить эти изящные козочки в угодья, соседние с Ярославской, Новгородской и Ленинградской областями. В наст и при глубоком снеге им тяжело передвигаться, косули нуждаются в подкормке.

ОНДАТРА — трудные дни переживает, пока на водоемах не появятся забереги. Всю траву подъела, голод стучится в хатки из камыша, в береговые норы. Родина ондатры — Северная Америка. Завезен к нам ценный пушной зверек в 20-е годы. Встречается

широко. Под Вологдой, например, на реке Тощне обилие нор, густые поселения. Ондатра в области насчитывается около 65000.

ГЛУХАРЬ — вылетает из хвойников к болотам на проталины. Старые мошники-бородачи нет-нет и, волоча распущенные крылья, затопчутся на снегу, издавая щелканье: «ток... ток!» Репетируют, как в апреле-мае загуляют!

ТЕТЕРЕВ — у косачей набухают красные брови, шея и грудь отливают синим металлическим блеском. Сидя на деревьях, петухи упражняются в весенных песнях: «ур-ур-ру... круты перья оборву... оборву!»

УТКА-КРЯКВА — передовые стайки в раннюю дружную весну достигают Вологодчины.

ЧИБИС — в южных районах области в конце месяца одиночки на проталинах в полях. Окликуют прохожих: «Чи-ви? Чи-ви?»

СИНИЦЫ — пора в лес, зимней прописке близ жилья человека срок вышел!

ОВСЯНКА — перышки на грудке и шея желтые, весенние, а держится пока у кладей соломы да амбаров, не доверяет марту-позимью.

СТЕРЛЯДЬ — нередко на исходе марта по Сухоне скапливается к устьям ключей, родников,

ам, где у берегов промыло та-
пицы-полыни. Все-таки душно,
хотя свежей водицы хлебнуть!

БАБОЧКА-КРАПИВНИЦА — пер-
вый вылет на пригрев, на стены
изб.

АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ

На озимь повадился русак. Ям нарыл в снегу. Из ночи в ночь бегал. Воображаю, бравый и бодрый русачина: в белых усах, по спине бурый ремень, кучерявый, как мерлушка.

Издали мне показалось: в одной заячьей ямке проблем-
стело стекло. Синее стеклышко. Прозрачно просинело оно,
напомнив, как любят девочки собирать всякие такие стек-
ляшки. Непременно разноцветные. Бранчили у них по фарту-
кам. Помню, я удивлялся: на что вам дрянь сдалась? Та-
щат ее в карманы, друг перед дружкой хвастаются, обмен
идет. Подумаешь, сокровища! Я, помню, дразнил их, из рук
стекляшки вышибал: раз, а стеклышко звяк — и вдребезги.

Сейчас-то не стал бы. Зимой глянуть сквозь зеленое стек-
лышко — на тебе, лето. Зеленое сияющее лето в снегах! Раз-
ве не чудо! А желтое стеклышко дарит осень. Пеструю, цве-
тистую. Того удивительней какое-нибудь алое или фиолето-
вое. Смотришь в алое, скажем, стекло, и перед тобой не
снег или березы, а чужая планета: с алыми горами, зной-
ным небом, диковинными чернокрасными деревьями. И не-
множко жутко делается, дыхание в груди замирает: надо же,
вся земля алая, солнце пылает багряно и деревья чер-
ные, как обугленные!

Подошел я к русаковой копанке, наклонился. А в снегу-
го не стеклышко — цветок. Заяц фиалку выскреб лапами.
Мерзлую, обледенелую. Синюю-синюю с желтым ярким
зрачком.

Полевой фиалке в обычай осеню уходить под снег зеле-
ной, с цветами и бутонами. Коченеет под сугробами, глазом
не моргнет, как стужа ни лютуй. Терпеливо ждет весны и
тепла. Вроде спит. Может, сны ей снятся синие-синие? Та-
кие же, каким виделся мир девочкам в их стекляшки?

Скинув рукавицу, я поднял цветок за ломкий, осыпан-
ный искрами инея стебель. Фиалку зовут «анютины глаз-
ки», и я был аккуратен. Я держал хрупкий стебелек береж-
но. И бережно на него подышал. Хотел обогреть, вот и все.

Но синий-синий глазок закрылся. Я успел чего-то такое загадать, а глазок завял, стебель поник. Спасая положение, я дохнул горячей, и от фиалки осталась одна липкая грязь.

Я морщишься, вытирая пальцы. Фу ты... глазки! Фиалка! Сорняк, и больше ничего!

Однако почему-то не утешало, что фиалка эта — сорняк, больше ничего.

Под сугробами зиму вековать в ожидании своего часа.
В снегах мерзнуть и глазом не моргнуть, и в чужие руки не
дастся. — вот так «анютины глазки»!

ГРЕНАДЕРКИ

«Гренадеры», — произнесешь мысленно и вспомнишь о суворовских чудо-богатырях, одолевших в Альпах неиступные кручи Сен-Готарда, о Бородинском поле и Наполеоне, напрасно прождавшем на Поклонной горе ключей от Москвы. Отборные, первые в бою солдаты, мундиры в медальях и крестах, высокие шапки-кивера с орлами, усаженные, молодец к молодцу — вот что такое гренадеры. Уже в самих звуках этого слова «grenadery» чудятся громовые раскаты орудийной канонады, рев картечи и грозное ура штыковых атак. И зазывная барабанная дробь, и треск знамен на дымном ветру... И еще что-то забытое, с привкусом архивной пыли — ведь давным-давно все историей стало!

А гренадерки — синички.

Не синицы, именно синички.

Видали их?

Ну да, хохол из перышек на головке и писклявые, то-ненъкие выкрики:

— Пюре, пюре!

Где уж им взять воинственности-то: по нижним сучьям копошатся, повыше забраться смелонок нет, и громче крикнуть их не хватает. Серенькие. Поневоле скромницы. Один хохолок торчмя, точно колпак какой. Из всех синиц им и отличаются гренадерки. Да он тоже не в прок: придает пискуньям-невеличкам вид легкомысленный, комичный. Вчуже за них неловко, когда на ветках кувыркаются, мир лесной потешают — хвост вверх, голова вниз, и на голове шутовской этот колпак. Белые щеки будто в муке, сажен подрисованы скобки-морщины... Ни дать, ни взять опять же

шутовская, клоунская маска! А писк тоненький, комариный, писк-то прибавьте:

— Пюре, пюр-ре!

...Зима выстояла сиротская: морозам бы трещать, когда с потока текло, оттепели расквашивали дороги.

В свою очередь весна не радовала. Сейчас бы таять, солнышку на сосульках играть, но — ни сосулек, ни солнца. Мгла. Тусклая, седая. Пухлый иней на деревьях. Провода провисают, перегруженные выступившей на них изморозью.

Стужа нажала, какой нынче не случалось. Доподлинно правда, что в марте спереди и сзади зима!

Снегу, снегу-то...

Ночью заяц по-за лесной околицы бродил: пальцы на лапах растопыривал-шарашил, а ведь без толку — то-то, не дось, вяз в сугробах, толстый он нос, губы гройные!

Лиса с проезжей дороги свернула, шаг-другой по целине — и назад. Убродно! От безделья покатала конский мерзлый катыш, на задних лапах посидела. Что делать? Затруднила рысцой по тропке к гумнам...

Пасмурная стынь. Снежные залежи на сучьях. Сугробы непробудные.

И вдруг из за ометов соломы:

— Пюр-ре! Пюре!

Вылетела стайка синиц. Низко-низко над полем стелют. На изгороди отдохнули. Дальше понеслись:

— Пюре! Пюре!

Эх вы, малыши, заготовлено ли для вас в лесу пюре!

Снег там, мороз, бескорница. Останьтесь, переждите хоть эти студеные дни!

Улетели. Скрылись в лесу.

Первые, самые-самые. За ними другие птички полетят, из тех, что зиму возле жилья проводят. И синицы, и снегири, и чечетки, и овсянки — все остальные. Но уже следом гренадерок, по проложенной дороге, и им будет полегче, как всегда легче идти по дороге, кем-то проторенной до тебя...

В полдень небо очистилось от хмари. С желобов избянных стукоток пошел: чик-чок! чик-чок! Капель застучала, нальясь с оконных стекол чистой влагой стекла. Светлынь, солнце.

Так, может быть, гренадерки весну в лесу разбудили, в деревню послали? Голосами писклявыми, комариными подняли, с места стронули?

Серенькие птички. Синички-невелички, у которых на головке перышки торчком. Торчком, торчком, как кивер гренадерский!

ПАРИКМАХЕРЫ

Оседают сугробы. Снег оплавлен солнцем, не держит ни зверя, ни птицу. Вытаивают на нем прутики, хвоинки иглопада, семена елей... Серым-серый вешний снег, в налете копоти, рыхлый и влажный.

Единственно мышей он и выдерживает: сколько стежек наторили хьюстальные к выскирю на бугре — трухлявому пню! Вывернуло когда-то с корнем тут матерую елку, ствол ее сгнил, поволокли его зеленые мхи. А пень-выскирь остался, таращит узловатые корневища. Поднялся вокруг пня хоровод пушистых сосенок.

И туда-то и сбегаются мышные строчки-следочки.

Не клад ли открылся мышам под выскирем? Баба-яга его закопала, а мышки пронюхали и потихоньку-помаленьку тянут да тянут к себе в норки сокровища?

Нет, не клад у мышек возле пня. Парикмахерскую они там оборудовали!.. На снегу буреют жесткие волосы. Неаккуратно работают лесные парикмахеры. Хотя клиент у них — ого, хозяин суземья собственной персоной!

Медведь в берлоге под выскирем последние сны досматривает, ворочаясь с боку на бок: вставать ли, погодить ли? А мышки стригут его да стригут. Не спрашивают: вас не беспокоит? Не дергает? Который волосок с шубы они состригут зубками, который выдернут, раз медведь линяет, шуба у него поползла.

Носят мыши медвежью шерсть себе в норы, мышатам на постели.

Раз мыши норки утепляют, то вернутся холода. Да и медведь не торопится покинуть берлогу — также признак, что зима постоит, что нынешняя оттепель закончится стужей.



ПРЕЛЬ — КРАСНАЯ ГОРКА



Заря, умытая снегами, разгорелась румяно, и от света ее самолет вознес высоко на крыльях — в ту сиреневую мглу, где истончились и померкли звезды и откуда напахивало утренней свежестью. Мотор порождал в чащах гулкое эхо. Лоси лынули к елкам и водили ушами. Рысь, пружиня лапами, спрыгнула с сосны, и светлеющий сумрак поглотил серого пятнистого зверя...

На границе делянок — огромных росчистей, исполосованных вдоль и поперек тракторными волоками, — самолет снизился. Постлалось за ним дымчатое облако. Миллионы семян, вихрясь в потоках, поднятых винтом, поплыли вниз. Делая заход за заходом в делянки, самолет как бы пахал воздух. Пахал и сеял новые боры на месте вырубленных.

Сев лесов — апрельская примета.

А день привел с собой белые, курчавые, как стружка, завитые облака, донес с полей переборы жаворонков.

На каждой проталине — по жаворонку! То протяжно, то скороговоркой лукаво распевают: «Лечу на небо... на-а не-е-бо, на-не-бо... ухвачу бога за бороду, за бороду, за бороду, а он меня кинем, ки-и-ем, ки-и-ем!»



И тащит грач первую
веточку в гнездо..

Журавль на болоте линяет, исходит криками:
«Жи-изнь... жи-изнь!»

Лужу прогрело. Спросонья моргает лягушка, выставив
лаковую спину под солнце.

Зайчик, уползший в тень сухого прошлогоднего бурьяна, подрагивает носом — бархатная шерстка, настороженные ушки. Наставичок — редкость в северных лесах-суземьях. Из десяти зайчих разве одна приносит зайчат по снегу.

Апрель — весна «необлыжная», то есть необманная.

Но знаете:

— Первое апреля — никому не верят!

Испокон веков в начале месяца, хотя он «необлыжный», все от мала до велика по городам, по деревням изощряются в розыгрышах, весело насмешничают над друзьями, добрыми знакомыми. «Первого апреля не соврать, так когда потом и время выбрать?»

В неписанных календарях старины древней значился апрель на Руси как «пролетень», у чехов — «дубень», у сербов — «налетень».

Но, пожалуй, тень первого апреля ложилась и на последние дни. Были о том сложены поговорки: «Апрель синит да дует, тепло сунит, а ты гляди, что-то еще будет». «Апрель, он под май подведет».

7 апреля — день «зимобор». Пусть неуступчива зима, сдает позиции с боем, все равно ей не устоять перед светом, перед солнцем!

Трогается рыба с зимних становищ. В водополь тесны рекам берега. Озера затопляют низины. Под дождями пали оковы ледовые. Дождик и апрельским лесным снегам как воск — огонь, как соли — вода.

Птиц, птиц-то — гомон, кряканье, свисты по берегам! Рано прилетевший чибис, хлопая крыльями, едва успевает окликать стаи: «Чыи вы?» Чыи вы?» Где бы зиму-зимушку ни проводили, теперь все наши — пеночки и дрозды, лебеди и винчи, кулики и утки.

Чертят небо стаи: журавлиные — треугольником, лебединые, гусиные — тоже треугольником, клином или цепочкой, мелких птиц — густой россыпью.

Апрель — «красная горка». Солице с нее уже в лето катится. Катится под гуденье пчел, покинувших «кельи восковые», под гул тракторов, вышедших на пахоту...



Самое-самое-самое

Весной, как хлебороб-землепашец, жаворонок погожим днем дорожит Самую раннюю его песню звончатую, полей побудку, под Вологдой услышали 23 марта 1935 года. В 1902 году жаворонок прилетел всего позже — только 2 мая.

Ледоход на реке Вологде — когда как: в 1816 и 1937 годах река тронулась 29 марта (Сухона у В. Устюга 2 апреля), а в 1867 году лед стопп без движения до 16 мая. В среднем же, за семьдесят лет наблюдений, р. Вологда вскрывается приблизительно 19 апреля.

Самый высокий паводок на Сухоне был в 1953 году: у Тотьмы 5 апреля река поднялась на восемь с половиной метров!

Озими зеленеют, весть подают, что земля прогрелась. В 1953 году озимь зазеленела очень рано — 11 апреля, в 1940 году с сильным запозданием — лишь 5 мая.

Кто, где? Куда и откуда?



МЕДВЕДЬ — отщавшие и исхудавшие поднимаются с берлог медведи: первыми старые косматчи, позднее всех медведицы с малыми медвежатами. Ищут медведи клюкву, раскалывают муравейники. На пригреве по берегам глухих рек «катают ковры»: отдирают пластами дерн, добираясь до кореньев, насекомых и червяков. С голодухи преследуют лосей в отзимки по насту, позднее домашний скот на выпасах.

ВОЛК — в логове волчата. Селится угрюмый бирюк уединенно, в непролазных зарослях. Волчица долгое время не покидает гнезда, прокормом обеспечивает материальный волк, из осторожности промышляющий вдали от логова. В выводке 3—6, реже до 8 волчат.

КРОТ — земля оттаяла — взялся за работу. На лугах, полянах, в лиственном лесу роет новые подземные галереи, ремонтирует обрушившиеся старые. Высока плотность зверьков в Междуречье, в Грязовецком, в Вологодском районах.

БЕЛКА — в южных районах области выкармливает ранний приплод. Сразу приносит 3-9 белышат. Севернее — гнезда мастерит из прутьев и мха. Повсеместно у белок линька. Кормятся они шишками с земли, так как семена с елей и сосен осыпаются.

РЯБЧИК — бегает по насту, подбирая семена берез, елей, ольхи.

Раскапывает ягодные кочки брусникой. Из года в год, как правило, одна и та же пара птиц занимает определенный участок в ельнике, в смешанном с примесью хвойных пород редко лесье.

ЛЕБЕДЬ — на безбрежных разливах Присухонской низины, в Рыбинском и Череповецком морях и других обширных водоемах. Время остановок перед отлетом в Заполярье иногда растягивается на долгие недели. Дивное зрелище — лебеди! Сквозные птицы! Раз увидев, не забудешь!

ГУСЬ — тоже ждет «летней» погоды. Посещает освободившиеся от снега озимы.

КРЯКВА, ЧИРОК, ЧЕРНЕТЬ МОРЯНКА и другие утки — от Грязовца до В. Устюга — всюду валовой пролет с западных атлантических и южных каспийских средиземноморских зимовок.

ГОГОЛИ — нужны им дупла, и к прилету гоголей егерями выставляются по берегам таежных озер и рек искусственные гнезда: все равно что скворечники возле дома!

ЖУРАВЛЬ — по топким клюквенным болотам на зорях трубит столь зычно, оповещая, что он дома, — адрес не надо искать! А плясок, хороводов у журавлей весной... Такие коленца выкидывают — умора!

ЗАРЯНКА — ночью прилетела, «
дороги не отдохнув, спозаранок
запела!»

ЩУКА — выходит на разливы
метать икру

ОКУНЬ — вымечет свою икру
охотится за чужой.

СНЕТОК — на Белом озере не
рест в устьях рек Ковжа и Кема
при температуре воды 8°9°. Хорошо
прижился снеток в Рыб-

бинском море. Ценная промысловая
рыба — не смотрите, что из
себя чуть ли не с мизинец.

УЖ, ГАДЮКА — солнечные греют
ся на проталинах на солнце.

ШМЕЛЬ — весной 1960 года
например, шмели появились под
селом Жерновово, Грязовецкого
района, еще 17 апреля.

КОМАРЫ-ТОЛКУНЧИКИ — топ-
кутся, тепло ворожат!



Знал бы зяблик, как его люди зовут, обиделся
бы наверное: «На ветках снег, а я пою хоть
бы что! Какой же я «зыблик!»

ПРОТАЛИНКА

Что за птица, если на деревья не садится? Если жарким летом рыжая, если к зиме линяет, как заяц? Да и ножки у нее зимой, ни дать ни взять, лапы заячьи. Кормится она прутьями. Голос вроде бы собачий: заорет, бывает, осенью в сумерках: «Гав-гав... р-р-р!» — озnob подерет по коже от этого вопля. Ну, оборотень завелся, не иначе! Эк он надрывается: «Куау... куау... р-р-р!»

Все-таки что это за птица — на заячьих лапках? Если в зобу не пища — опилки?..

Алые кусты тальника далеко отбрасывают серебряные тени. С белесого неба редко и беззвучно сыплются иглистые ледяные звезды. От закатного солнца бронзовеют стволы сосен и их узловатые сучья.

Ниже закатное солнце, лютей мороз.

Возникло над болотом белое облако, низко-низко пронеслось возле опушки леса и в трескке крыльев снежными комьями рассыпалось вдоль поросли ивняка.

Птицы тотчас принялись за кормежку, захрустели прутики!

Около часа пировала стая в таловых кустах: шум, треск ломаемых клювами веток не умолкал ни на мгновение и был слышен издалека. Затем стая поднялась неожиданно, как и налетела. Сгрудилось над потемневшей равниной болота крылатое облако и... исчезло! С лету птицы попадали вниз, пропали из глаз.

Поиграй-ка вот с ними в прятки, с белыми куропатками!

Они ведь, белые куропатки, на деревья, почитай, никогда не садятся. Они питаются веточками, словно зайцы. И белые сами, как зимние зайцы. У них ножки с осени густо-густо обрастают пухом и пером — делаются точь-в точь заячьи. Это чтобы по снегу бродить не проваливаясь.

Весной, едва кочки на болоте обнажатся, запестреют проталины с рыжеватым мхом, с жестким багульником и седым белоусом, не преминет на перемены отзоваться белая куропатка. На ее снежном оперении тоже появятся первые проталинки. Сначала на шее, на головке с бугорками бровей оботрутся, выпадут перья-снежинки, их заменят рыжевато-красные, аккуратно под цвет вытаявших мхов и листьев ржавых болотных трав.

Поэтому про себя я и зову белых куропаток проталинками.

Когда-то большие стаи водились их, теперь реже встречаются. Охота на белых куропаток закрыта, да что браконьерам хищникам запреты и законы! Стреляют куропаток весной, давят собаками летом. Труда не надо — убить куропатку на гнезде или при выводке. Никакой птице не сравниться с проталинкой в привязанности к детям. Самоотверженный куропач-самец собою скорее пожертвует, но не допустит урона для семьи. Яро кидается он на собаку, на лису, хлопает крыльями, бьется в траве, влечет и манит за собой: «Меня хватайте, не трогайте гнезда!»

Случается, отводит беду.

Случается, попадает под выстрел...

И реже, все реже встречи с куропатками-проталинками.

А одна встреча оставила во мне неизгладимый след.

Я любил это озеро — за мхами, болотами, за топкими лесами — сограми. Оно, считайте, на окраине города, и по ночам зарево огней светлело в той стороне, как заря, и поднявшиеся с городского аэродрома самолеты ревели над озером моторами, не успев убрать шасси. По болоту к озеру проложены мостки — топи же вокруг! Утомительна ходьба по мосткам, идешь глаз с них не спуская. Отвлекся, задумался о чем-нибудь — готово, оступился, ухнул в тину, в грязь выше колен!

Раз иду я, гляжу под ноги. И встречаю из-под мостков, этих трухлявых бревен на подкладках, чей-то испуганный и честное слово, умоляющий взгляд. Взгляд карих блестящих птичьих глаз.

Немало народу пользовалось летом мостками, так как другой дороги к озеру нет. Здесь, под мостками, устроилась проталинка. Что она переживала, когда над головой тяжело бухали рыбацкие бродни-бахилы?

Я прошел, не посмел остановиться. Потому что немножко сведущ в лесных обычаях. Побывайте в глухи, в нетронутых чащах, и вы убедитесь, до чего слабо заселены они, — как ни странно покажется, дичь теснится к полям. К лугам, к жиidenьким лесам близ жилья человека. Одно, что прокормиться там легче, около полей, другое и основное — то, что возле человеческого жилья меньше хищников: ястребов, волков, лисиц.

Поразмыслишь, напросится вывод: не одна смелость обусловила, что проталинка завела гнездо буквально на следу человека.

На обратном пути с рыбалки я нашел знакомое гнездовье.

Оно было уже пожилое...

Под трухлявыми мостками увидел я десяток остывших крапчатых яичек и птенца-пуховика. Ползали муравьи. Птенец был мертв. Муравьи выели ему глаза...

На мху у мостков валялась стреляная картонная гильза...

ДЫХАНИЕ

Прилетная утка крякнула — берега звякнули.

Грачи на березах. Галдят, гомонят. Идет у них стройка.

Сорока в своем доме средь ветвей. Дом, дом! Основание гнезда глиной обмазано: чем, скажите, не фундамент? Сверху прутья набросаны, — чем не крыша? Странно видеть стрекотунью и балаболку, когда неподвижно цепенеет на яйцах и хвост поджат. Она-то, сорока, пролаза, вертячка — и вот зам, смирненькая домоседка! Для отвода чужих глаз вблизи два-три пустых гнезда. Висят они в сучьях на виду, а жилье укрыто, спрятано. Поди его, угляди!

У черного ворона птенцы вывелись...

Но зима еще не сдалась: снегами лежит по лесам. Сे рымы снегами — в хвое иглопадной, в мусоре и хламе. Алье на восходе, золотые под солнцем снега в полях стаяли. ручьями растеклись.

Лежат снега серые, лесные, заступают путь весне. Под гололены они, сырье, подернутые коркой крепкого наста.

Облачается весна синими небесами, подпоясывается белыми облаками, застегивается звездами — в чащу собирается.

Да что-то долги ее сборы...

Ближе к полдню распалось солнце. Наст отмяк. В теплах — снег. На припеке — снег. Блестит, глазам больно. Тлеет снег, в себя вбирает хвоинки, копотцу с деревьев, крошки мха и прутья.

Вот прямо в сугробе чернеет листок. Невесть откуда зиновый залетел. Накалило солнцем, прожег он сугроб насквозь.

Прошел бы я мимо, но увидел: из сугроба пар идет.

Кто там дышит?
Ну-ка, ну-ка, посмотрим!
Парок нежный, прозрачный. Вблизи не заметишь, виден
издали — на фоне черных елей.
Земля и в лесу проснулась, ее это теплое дыхание...

ГЛУХАРИНЫЕ НОЧИ

Приболотье. Ини, бурелом в снегу. Елочки высовывают колючие мутовки из сувоев-суметов, тянутся, на цыпочках подглядывают, как тени красных, задубевших на стуже со сен теснят прогалину. Холод в тенях неизбытный, только солнечным полднем, когда тени бледнеют и сжимаются, обогретый воздух сквозит влажной испариной.

Выставив верхние мутовки, день за днем томятся в су гробах елочки, зеленые ежи. Смотрят. Ждут чего-то. Надеются. Потому что упругие белые облака текут по небу; по тому что, как роса, засветлели барабанки на вербах, а по ночам оседает наст — с гулом, подобным отдаленному грому.

И как-то раз погожим утром низко над болотными соснами пронеслось что-то темное. Похожее на шар. Темный, он со свистом распорол воздух, пролетев над соснами, и ска тился на прогалину. Ударился оземь — снежная пыль столбом.

Ударился шар о наст, грохоча крыльями и превратился в громадную птицу. Черную птицу на белом снегу. В рез ких тенях снег, изломанных, как зигзаги молний. Синих морозных молний.

Минуту-другую глухарь хранил неподвижность. Издали: птица не птица, так себе — черный обугленный пень...

Потом он прошелся — бородатый, важный. Поднял и роскошным веером развернул хвост. Серые в дымчатом крае взъерошились перья на шее.

Раздулся глухарь, стал поперек себя толще. Точно панцирь, отсвечивал глянцевито зеленый зоб. Рдели широкие красные брови. Под мохнатыми пальцами с хрустом про давливалась снежная корка. Шел глухарь, следы лапами печатал. Иногда взрагивал и возил распущенными до полу крыльями. Пританцовывал, кружился и скреб по снегу бурым крылом, и зорко, настороженно озирался из-под красных бровей.

Елочки — по шею в снегу. На цыпочки вставали: в самом деле глухарь крыльями чертит? Ага, чертит!

Дождались! Глухарь чертит — зиме конец и быть здесь току — таинству таежному, сокровенному, з какою мало кто посвящен...

* * *

Потемки — глаз коли. Небо, опрокиннутое наземь, смешалось с хилым, заплесневелым леском. Опрокинулось и не подняться ему: набухло вонючей болотной сыростью, застяло в мешанине сучьев, хвои, белесых трав. Света, немного бы света! Но ни света, ни воздуха. Не назвать же воздухом душную вязкую прель? Она облепляет нас, более липкая, чем залитая водой, закоряженная болотина, которую мы месим сапогами.

Междуд тем Кадуйский угол Вологодчины известен более не болотами, а сосновыми борами, где весною ранним-рано обнаженные косогоры усеиваются лиловыми звездами сон-травы, благоухают клейкие почки березовых рощ и пылят желтые песчаные дороги...

И дорога пылила, и с ветром грузовик вез нас навстречу с глухарями. Уж мы их за хвост поддержим!.. Лихо наш «ЗИЛ» мчал: на ветру слезы из глаз. Наматывая километр за километром на потертые шины, любо-дорого как бодро он вылетел к деревне Большие Старухи. Вылетел и осадил назад, выпучив фары.

Вдоль посада — лужа. Чудо что за лужа: в ней мокли веники-голики, мусор и окурки плавно плавали по ветру, будто кораблики.

Сунулись мы в объезд: не мечтай проехать. Пробуксовывая по скользкой, как намыленой, глине грузовик повернул обратно и сел в луже на дифер. Прочно сел. Основательно. Покряхтел и накренился на правый борт — в довершение несчастий спустило колесо.

У дуплянок, поднятых на шесты, скворцы задирали носы. На подбор в блестящих парчовых фраках, они потряхивали куцыми фалдочками, ошарашивая окрестности свистом.

Осыпали нас скворцы: в луже посреди деревни застярь намертво — это же курят на смех.

Да, но лужа-то какова — море разливанное!

— Товарищи, что вам сегодня снилось? — спросил один из нас.

— Мне — лошадь, — вздохнул второй. — С копытами. С хвостом.

Кабы лошадь, разве бы застряли? Трюх-трюх, и всех дел. Колечко в дуге брякаст. Как их? Гужи?.. Ну да, гужи скрипят. Романтика, — трюх-трюх, пять километров в час.

-- Мне кошка дорогу перебежала, — буркнул третий.

— Ну-у? — ахнули мы. — И ты с дурной приметой в нашу компанию набился?

— А что? Может, это вредно — в машине ездить? Еще продует. Насморк схватишь. Чего хорошего?

Кто не знает, что лучше илохо ехать, чем очень хорошо идти? Изведайте — убедитесь!

В сумерки лишь мы попали куда надо — в хутор Середник к охотнику Павлу.

Был самовар. Были разговоры, уговоры и переговоры.

— На мотоцикле ехал и ногу подвернул, — не сдавался Павел. — Растижение жил... Справку покажу. Желаете?

Ты ее глухарю покажи!

Э-эх, все замыслы наスマрку. Мечтали, готовились и... То лужа проклятая, то проводник на ток отказывается вести.

— Есть ток-то, есть! — кричал Павел. — На делянке поют. Найдете! Ступайте по тракторному следу прямо, прямо... Да где вам с пути сбиться-то?

Ясно, негде. Особенно в чужом лесу и ночью!

Заря погасла, когда мы переправлялись через реку Суду. Несло сплавной лес. Течение бешеное. Бревна сталкивались, топили друг друга. Одного бы удара бревна достало, чтобы уткая перегруженная долбленица, черпнув бортами, ушла на дно.

Едва очутились на противоположном берегу, в избе Павла погас свет.

Ночь, добрые люди спят...

А мы тащимся, навьюченные походным скарбом. Грязь по колено. Спотыкаются батоги. Кочка... еще кочка! Переход из жердей. Наверное, под нами ручей. Так и есть... Ч-черт! Батог не нащупал опоры, немножко — и я ухнул бы по горло в воду!

Темень слепая, воспаленная. Похоронно воет сова: «уху-у... кугу-у».

Что гонит-то нас в болотную пучину, сквозь кромешную тьму?

Спотыкаются батоги. Запинаются сапоги...

На губах привкус ржавчины. Волглый настой мхов, древесной гнили и прелых листьев под ветром словно бы рябит, колыхается, пропуская откуда-то с суши запахи проросших трав и хвои.

Валежник, колодины. Надаем, разбрызгивая лужи. Собственно, это одна лужа, длиною в несколько километров. Болотом зимой вывозили лес, тракторы в крошево обломков искромсали гать, настланную по трясине.

Едкий пот выедает глаза. Темень справа, темень слева, темень впереди. Внизу... Лучше не смотреть под ноги! Ощущение такое, будто карабкаешься из ямы: отвесны ее стены, зацепиться не за что — темень, гниль, болотная ржавая плесень.

Вспоминается некстати, что Павел в избе нешибко хрюмал. Но спохватившись, припадал на обе ноги разом. Артист! Система Станиславского под тесовой кровелькой, и больше ничего! Он скреб под рубахой поясницу, вздыхал, напрашиваясь на сочувствие:

— Растижение жил. Да я бы для вас... Глухаришек этих за хвост хоть имай! Ну, честное слово! Выставил бы в самый раз!

От парной духоты разморивает: поддайся малодушно, прислонись к какому-нибудь чахлому деревцу перевести дух, — стоя уснешь. Шуршит забрызганная грязью одежда Сова умолкнула, комары не зудят. Зловещими странными звуками отдается густой влажный воздух на шаги, сопенье и чавканье, с каким вытаскиваем сапоги из торфянной каши. Чудится, мы топчемся на месте, не подаемся ни назад, ни вперед, погружаясь глубже в душные потемки, и кто-то другой кружит возле, преследует нас. Хлюпающей болотине нет дна: мы проваливаемся, барактаемся, она засасывает, бурлят, клокочут пузыри болотного газа. Опереться на шест нельзя — уходит в торфянистые мхи, посовываешься инчиком, лицом в грязь. Ступить тверже нельзя, сразу вязнешь выше колен, вода льется в голенища.

— В этом-то и прелесть охоты! — подбадривает Сергей Петрович.

Он инженер, руководитель большого хозяйства. С виду, по внешнему впечатлению, никак не таежник. Но, удивляя

подчиненных, берет отпуск зимой. Неделями его не видят дома. Отирает бока на нарах промысловых избушек. Добывает лосей, пушнину. Ветром его шатает, когда заросший бородой, прокопченный чадом походных привалов является на службу, в кабинет с телефонами и секретаршей, и клянется друзьям: «Чудесная зарядка!»

Он взялся идти первым, и мы — за ним. Как альпинисты в одной связке. Как разведчики в ночном поиске. Альпинисты, сдирая ногти, нащупывают в отвесной круче трещину, чтобы твердо опереться ногой, — так и мы тычим батогами, по наитию выбираем, куда шагнуть и не оступиться в трясину. Разведываем мы себя. Хлюпает и чавкает болотная жицель, зыблется, ходит ходуном. Деревья во мраке точат... Пройдем! Кроет нас ночь, душат гнилые болотные испарения... Одолеем! Всякие в жизни случаются болота: одолеем, какие бы ни были. Уверенность в себе подкреплена этой ночью, в этих трущобных хлябях.

А глухари?

Они собираются на токовище перед закатом. Бывает, что приходят пешком, если близко кормные угодья: сосняки, клоковые болота и пожни. Попасть на травке — им милое занятие.

Вечером обыкновенно глухари играют слабо. Сидят молчком, перелетают по деревьям. Можно из них выделить одного-двух матерых, — это патриархи, оберегатели потаенного святилища. С характерным щелканьем: «Д-док... док!» — цукают они собратьев помоложе. Строго держат их на почтительном от себя расстоянии: «Брысь, не мешайтесь между старшими, затопчем... Д-док, д-док!» Намек на опасность, тень тревоги, и сгинут токовики, шумом крыльев предупредив остальных.

Ничто не обспокоило глухарей ни вечером, ни ночью. Наутро, чуть забрезжит в небе ранняя заря, раздается из хвойных громад:

— Ток-ток... ток-ток-ток... шифи-шифи шифи!

Тихий этот зов сродни капели с мокрых деревьев, скрипу сухостойных елей, ощетиненных голыми, как мертвая кость, ветвями. И пробуждающемуся дыханию хвои, и неясным лесным шорохам. Наполняется суземье дикой нестройной музыкой: слушаешь ее, и мысль возвращается в забытую древность, когда, быть может, на этом болоте водились мамонты; наш пращур острил у огня деревянные

стрелы и молился падучей звезде... «Ток-ток, шифи-шифи», — глухарь запел! Проступают льдисто вымощены неба. Восток пламенеет. Играют глухари: слетев наземь, сшибаются грудью о грудь, бьют крыльями. Пена орошает испачканные смолой загнутые белые клювы. Колесит по токовищу старый глухарь. С вызовом несет развернутый хвост, волочит распущенные крылья. Лужа — брызги летят, так резво перемахивает через нее. Колодник, заросли можжевельника — не преграда. Сшибаться грудью о грудь, драть клювом перья из соперника и петь: «Ток-ток-ток, шифи-и-шифи», — одни желанья владеют им, в иное, не вешнее время скрытным и осторожным донельзя.

... Раскрошенная тракторами просека кончилась. Ныряем с ходу в лиственный молодняк. Бьют по лицу сучья, впиваются в одежду и не пускают.

Сейчас главное поспеть на место. Нам давно бы пора, еще с вечера, быть на месте.

Но в Больших Старухах такая чудная лужа!

Из зарослей выходим в старый бор. Устали, едва ноги волочим.

Сергей Петрович жжет спички, сверяется с компасом. Что? Заблудились?

Напряженней гудят сосны. Очищается небо от хмари. Ветер — откуда и взялся? — набирает силу. Сеется сбитая хвоя. Ветер восточный, он знобит промозглым холодом. Рваные кромки туч касаются макушек деревьев, гнут их ниже, распластывают, и не гул монотонный, усыпляющий — тяжкий ропот выносится из хвойных недр, грохочущим валом катясь в сырье болотные дали.

Вывел Сергей Петрович на токовище, успели к рассвету.

Глухари вот не заиграли.

Они или вовсе не прилетают на ток, или молчат, за исключением ретивых одиночек, если ожидается непогода.

Светало. Снежная крупа хлестала косо, высекая на лужах пузыри. Белые, отлого направленные стрелы били по стволам, по мхам и хвою. Сморщились голубые венчики просек, смыкали лиловые очи сон-травы.

- Так что нам снилось, мужики?
- Лошадь, — бурчит один из нас
- С копытами?
- Ну да. И с хвостом.
- А голова большая?

— Большая и умная... Отстань!

Сергей Петрович настырывает: «Жил да был черный кот за углом», — и глаза у него смеются.

В рассветной мгле невозможно понять: мох боровой за-белел под соснами или снег.

У костра от насквозь пропотевшей одежды валит пар, и его сдувает ветром.

* * *

— Глухарей-то много?

— Глухарей? — Шурик неопределенно поводит плечом. Затрудняется в ответе: много, что ли, надо? На нем замас-ленная стеганка, кирзовые сапоги с подвернутыми голени-щами в обтяжку.

— Есть, водятся, — сказал он помедлив. — Навечеру сбродим.

Шурик после школы-восьмилетки выучился в Тотьме на механизатора, эти дни занят в колхозе на пахоте. Мне по душе его немногословность, можно на парня полагаться. Что сказал, исполнит.

На холме деревня Гора, окнами к полям и реке Уфтуюге.

Избы кондовые. Горницы, обширнейший сеновал, скот-ный двор и хлевы, подклети — все крыто одной крышей.

Невыразительны, голы и плоски были бы избы, если бы не висячие балконы, резкое узорочье ставень, причелин да коньки на крышах.

Кони, кони: что ни изба, свой конек. Плынут над ними облака, шумят березы, распуская по ветру плакучие ветви...

К этим бы изbam да хоровод на зеленом лужке — с пере-бором тальянок, с топотом смазных сапог! Чтобы кумачные рубахи парней маком цветли, чтобы девичьи голоса вокруг все поля облетели:

Как из тоненький ледок
Выпал беленький снежок...

Столбы по деревне. Провода и провода. Несут электриче-ский ток. Несут вести-новости: повсеместно теперь радио.

Безлюдье. Одна старуха в сарафане-пестряке на зава-линке с вязанием в коленях сутулится.

Любимый город может спать спокойно
И видеть сны и зеленеть среди весны. —

Слышино из раскрытых окон.

Петух, названивая шпорами, разгуливает на куче мусора — красная корона залихватски набекрень, грудь в атласном жилете. Чванится, хвост распускает. Крыльями выбил пыль из жилета и прогорланил:

— Кука-ра-ча!

Ишь ты, бас-то каков, просто Шаляпин!

Лапоть-отопок валяется. Травой зарос. Прихватить его, что ли с собой?

Нет, Шурик засмеет: в лес растонку не носят. Хватит там бересты.

Лес, лес... Первобытны леса по Уфтиюге! По ее притоку, сузенному Кондасу, обжились бобры. На Порше в белых ягельниках замечены стойбища диких северных оленей. И рыси есть, и медведей в глухи в избытке. Если от Горы податься болотами на север, то, без преувеличения, отмеряй сто-полтораста верст, не встретишь ни дома, ни дыма. Всчет ли затерянные по сузеню одно-две сторожки лесных кордонов?

Мне повезло, что сразу после Кадуя попал в этот край. Где и быть глухаринам токам, как не на Уфтиюге?

Шурик явился поздно, уже темнело, и я терял надежду, истомившись ожиданием.

Неизменная стеганка, кирзовые сапоги. Ружышко на плече по-таежному стволом вниз.

— Вы готовы? Тогда идем. Тут близко.

Ток оказался снова на делинке. Везде лес ведь рубят. Хоть в Кадуе, хоть на Уфтиюге.

Зимой при выборочной рубке здесь заготовляли столбы для линий электропередач, для нужд связи. Мы и пробрались к приболотью по волокам — петлястым примятым тропам с ломкой, ржавой хвоей, накрошенной зимой с гракторных возов.

Не теряя времени, Шурик повалил топором сухостойную сосну. Чистое смолье: костер занялся с первой спички, пылая, дунул вверх искры.

Задолго после заката, — сквозные просветы между деревьями смыкались, за шаг от костра встречали потемки, от звезд зарябило в лужах, — протянули стороной несколько глухарей, с шумом сели где-то в деревья.

Напившись чаю, сдобренного смоляным дымом, прикорнул у костра Шура, укрывшись ватником.

— Свечи... Свечи продуй! — выкрикивает он со сна.

Поднимает голову бессмысленно и роняет ее на сосновый
лапник.

Смолу на огне пузырят поленья.

Звезды мигают.

Ласково напахнет ветер, разбудит шорохи да пискнет в
вышине птичка, ночью отбившаяся от перелетной стаи...

Тишина. Мне эта ночь запомнится тишиной. Сажусь на
пенек, слушаю. И будто слышу, как втянув шею, хранил
глухарь-токовик, спятившись по суку в гущину хвои; как
на Кондасе в заводи елозит и извивается щука, сгустками
студня выдавливает липкие зерна икры; как в болотине-со-
тре далекой Порши сокжой — вожак оленевого стада пере-
тирает на зубах жвачку из сладкого ягеля; как медведь,
чавкая и соля, загребает в пасть муравьище.

Тепло. За спиной маячит огонь костра. Он лишний в но-
чи, и я сижу к нему спиной, приучая глаза к мягкому об-
волакивающему мраку.

Гул донесся сверху, где реактивный самолет невидимо
стелет полосу инверсионного следа. Днем она сверкающая
и острыя, точно обнаженный меч. Пытаюсь представить пи-
лотов в их шлемах, высотных скафандрах: рев моторов
рвет тишину в клочья, сверкающий меч надвое развалива-
ет небо, — они берегут тишину, сами не юная ее в грохо-
чущей утробе исполинского корабля, нацелившегося куда-
то за леса, в беспредельность...

После гула моторов тишина столь осозаемо наполнена,
что ее трудно вынести, и я возвращаюсь к костру, к говор-
ку сучьев на огне.

Шурик проснулся, сгруживает головин. Я ставлю к
угольям котелок с чаем.

Да, ток на делянке. Что ни год, все дальние оттесняют
глухарей в угрюмую нежить тайги. Всюду ведется заготов-
ка древесины, а эти птицы не выносят изреженных рубками
лесов.

Глухари — прошлое наших суземий. Недаром зовут их
«соловьями каменного века». Чудом уцелели крылатые ма-
монты, сохранив и прежние повадки и глухие страстные
 песни.

Весной они привержены к раз набегающим избранным ме-
стам, где токовые игры продолжаются из года в год, деся-
тилетия подряд. Более того, как примечают бывалые охот-
ники, старые глухари предпочитают петь на одних и тех

же деревьях. Преимущественно, на соснах. Не обязательно выдающихся своей внешней живописностью, могучестью,— напротив, иногда токовик останавливает выбор на столь плюгавом деревце, что оно, не выдерживая тяжести исполинской птицы, шатается, роняя сухие прутики, иглы, когда глухарь входит в раж, минутами поет без передышки. Бывает, глухарь токует на елках, на осинах. Есть даже целиком березовые тока.

Шурик заряжает ружье. Разводит руками, приседает— полный порядок, одежда не стесняет движений. Топор он сунул за пояс.

Мы расходимся, условившись в случае чего подавать друг другу сигналы свистом.

Сучья, задевая лезвие топора, извлекают из него звеняний, медленно гаснущий звук. Он удаляется от меня, стихает.

Чутко слушаю. Комар вздохни, почеси спросонок лапками, я бы сразу, кажется, засек! Глухарей же нет. Не играют.

Звезды померкли. Громче, совсем рядом, чуфыкают и урчат тетерева в березняке, заливаются дрозды, зарянки, горихвостки, неутомимо вытенькивает пеночка: «тень-тень-тень», будто роса накрапывает в ручей.

Шире и светлей прогалины между деревьями.

Но чем так пахнет? У меня чуть кружится голова. Занах смолистый, влажно-теплый.

А, березки зазеленели. В одну ночь зазеленели — струится со скромно опущенных ветвей душистый прозрачный парок...

Кукушка прокуковала.

Я вспоминаю, что вещунья-бездомница не кукует в неволе. Сюда, до Нижней Уфтюги, дошел заказ Зооцентра отловить для зоопарка кукушку, поющую после поимки. Назначена крупная премия, никто ее пока не вытребовал.

Шура... Где он? Я тихонько свищу: ни говорить громко, ни кричать на токовище нельзя.

Шурик возникает точно из-под земли.

— Ну как? — шепчу ему.

Что спрашивать! У него губы спеклись. Капли пота выступили на переносце. Это единственная ночь, какую Шурик проводит в лесу: сев наступил, с завтрашнего дня пахота пойдет круглые сутки, не до охоты будет.

Он покусывает губы: привел человека на гок, а тока-то и нет.

Позванивает топор, задевая за сучья.

Вдруг я застыла, подавшись вперед.

— Д-док... д-док, — размеренно падает с сосны. Кто-то темный передвинулся в сучьях, замер в ожидании, как замерли мы с Шуриком. Бурые крылья глухаря мгновенно слились с тенями сучьев. Чернота оперения, как густые тени в хвое, седина шеи, как синевые, серые лишайники. — нипочем бы не опознать птицу, затанувшуюся у самой вершине дерева, если бы мы раньше не разглядели, что она гам!

— Далеко вроде... — Шурик сузил глаза. Ружье держит стволом вниз. Пальцы побелели, сжимая погонный ремень.

— Д-док... д-док, — через паузы тревожно роняет глухарь.

Шурик кивнул мне: стреляйте, чего уж.

— А ты?

Ну да, ну да... Он мис обмолялся, что осенью уходит в армию. Может, это его прощальная ночь в вешнем лесу?

Он не хочет стрелять, вст и все. Похоже, что я его понимаю.

Не выдержав, срывается с сосны глухарь. Поодаль грохочет на взлете крыльями другой. Глухарка гнусаво звякотала в глубине рёлки — мшистого бугра средь болот.

Почему глухари не играли? Не слишком ли близко мы расположились с привалом, глухарей, возможно, насторожил стук топора, когда Шурик рубил дрова для костра?

* * *

Тучи плоские, чернильные. Они отсылают, и края их, размытые дымным лунным сиянием, открывают звезду за звездой.

Долговязая сосенка, когда ветром колыхнет пламя костра, тотчас мотнется от обжигающего огня, чтобы через минуту успокоиться, нежась в его жарких отсветах. Побеги хвои напоминают детские пальчики. Любопытная сосенка на ощупь, пальчиками тянется к костру: что это такое? Потом, обжегшись, отдергивает лапку, вот-вот на нее по-дует.

Сегодня я один. В стороне, где деревня, гудят тракторы, — попробуй сказать, который из них Шурика?

Разбухли хвойные сучья, набрякли теменью.

И кому есть дело до того, если в одиночестве я исповедываюсь в любви к елям, погрузившим вершины в небо, к березам, мягко простирающим в ночи? К мхам — как свежо, духовито и притаенно дышат они, разомлевшие в неге майской ночи! И к оленю на Кондасе, и к бобрам, правляющим плотину после паводка... Я наедине с этим миром, лес со всем живым в нем и дающим жизнь, — мой родина. Я родился в нем, и зыбку укачивал ветер, как на моих лапах качает он звезды. Все очень просто: с маленьким некому было водиться, мать зыбку-люльку несла на ложью. Выбирала деревцо в тени, вешала люльку на сук — няню заменял ветер. И я исповедуюсь в любви к нему — темному ночному ветру, прилегшему отдохнуть на мхи. Звезды спят, истончившись до непостижимых искр, убаюканные тишиной. Спят деревья, вздрагивая со сна, как дети от избыва роста. Успокоенно устоялся воздух.

Трава дает всходы. Набухают соками почки. Неодолима жизнь, веки вечные торжествовать ей. Торжествовать — в бледных ростках под насыпью пальх листьев, и в зернах рыбьей икры, и в звездах, и в небе... Во всем, во всем живом!

Раскалены уголья. Дрожит пепел, голубой и белый, движимый идущим от угольев током. Не мельтешат блики, покойны. Тени покойны. С шершавых стволов, с лохматых косм хвои стекают вниз струи света: с сучка на сучок пониже, капля по капле с еловых и сосновых иголок. Наливаются щербины, шероховатости коры темнотой. Это угасает костер, и уже, все уже круг света, им порожденный, кучней толпятся деревья, нависают спутанными кронами.

Кто-то вкрадчиво скребет, ворошится в сучке у самого моего уха. Он мертвый, этот сучок, трубкой отстала кора, тощая свисает бороденка подсущенного костром лишайника. На полу моей тужурки из-под коры вываливается белый с черной головкой червяк. Вернее, личинка. Вся головка ее — черные челюсти. Зазубренные, отливающие металлом.

Луна серпиком. Небо полно звезд.

Но что, если глухари уже поют?

Загадочна песня глухаря. Подняв шею, в суровой важ-

ности расхаживает он на суку, врезая свой силуэг в зыбкую полутьму неба, и в мольбе тянет клюв к звездам: «Ток... ток... ток-ток-ток... шифи-шифи-шифи». Такой великан и такие тихие, слитые с утренней дремой издает он звуки! Ворочает шеей, развернутый веером хвост хороший резонатор, поэтому глухаринный шепот чудится то дальше, то ближе, то справа, то слева, тонет, растворяется в постоянном шуме. Поет глухарь, втянув язык глубоко в горло. Долго его считали немым, безъязыким. На последнем колене: «шифи-шифи-шифи!» — сходным по звучанию, как если бы на лугу точили косу, — токовик **я** время словно бы глухнет. Поет, не слыша самого себя, и грудь блестит латами, как щит, опущены могучие крылья.

Немой, глухой, но отчего завораживает его песня, вся взятая из скрытых, не увлекающих праздного слуха шепотов, шорохов, скрипов?

Только отошел я от костра, как услышал глухаря. Немного погодя, освоившись с предрассветной тишиной, — еще двух. Не осмыслив, что же это я делаю, лишь достигли слуха страстные пришептыванья: «шифи-шифи-шифи», — стелящимися прыжками бросился им навстречу. Лужа, — брызги выше головы; завал бурелома, — прорвался сквозь векинутые, как штыки, сучья в одну секунду! Что там сучья, сквозь стальные штыки пробился бы к глухой и таинственной этой песне — с одной мечтой овладеть ею, сделять ее своей...

Попеременно, то замирая, когда певун умолкал, то прыжками под его «шифи-шифи», я подкрался совсем близко.

На желтом небе глухарь увиделся мне черным лебедем.

Долго-долго не смел я вскинуть к плечу ружье.

Ладно, пусть это будет последняя глухаринная ночь...

После выстрела я поднял птицу за лапы, жесткие от роговых чешуй. Подвернув голову под крыло, спрятал в рюкзак. Траурный в белых мраморных пятнах хвост не уместился: не застегивая клапана, я вскидываю отяженевший рюкзак на плечи. И будто не глухаря, будто груз бессонных ночей нынешней весны поднят мной на плечи.

Не песню несус, песни остались в суземье.

— Ток-ток-ток... шифи-шифи, — раздается сзади.

Все притаений, все глушше:

— Ток-ток... шифи-шифи!

М

АЙ — ТРАВЕНЬ



Выстуженный прохладным дыханием почек, чист был воздух, стекленел, замирал, когда поднялось солнце. Сразу повеяло теплом, со дна лесов-хвойников потянуло терпким и ядреным духом, и все воспрянуло, построилось и даже блеклые травинки как бы приподнимались на цыпочки, держа на шершавых листьях капли ночной влаги. Разом ослепли лужи, расплескав по хвое, по сырьим угрюмым стволам сосен солнечный свет. Разом оглох лес — так ударили птичий хор!

Всегда неповторим май — зенит весны.

У весны три долга, три завета: тьму зимнюю одолеть — с этим март справляется; снег съгнать, землю согреть — тридцать дней ее апрель парит, из ручьев живой водой отпаивает; третий долг — отогретую землю в зелень убрать, — остается на долю мая.

Как «травень-цветень» стоял в народном календаре месяц кануна лета: «Апрель с водою — май с травою».

9 мая — День Победы. Идут и идут людские колонны к памятникам воинам, павшим смертью храбрых в годы Великой Отечественной войны. Дети несут хвойные венки, букеты полевые — скромную дань памяти героев. Пали на по-

Желтеют в траве
шары купальницы, —
Весна поворачивает
на лето...



ле брали солдаты и за то, чтобы солнце вставало над нашими полями, сады наши цвели, смех и песни не смолкали... Пали ради жизни на земле.

Жизнь! В мае — всюду жизнь... Буйно в рост трогаются озимые хлеба. Вишни, яблони идут в цвет, гудят от пчел.

Ты, пчелонька,
Пчелка ярая!
Ты вылети за море,
Ты вынеси ключики,
Ключики золотые,
Ты замкни зимыньку,
Зимыньку студеную!

15 мая — соловий день, с седой старины отмеченный в памяти народной.

Май, он всякий бывает. Слuchaется возврат холодов. Валит снег на юную зелень.

И вот каким бы ни был май, соловей не замедлит прилететь. Бывает, ветер бесится, побитые стужей гаснут лиловые медуницы, цурга, слuchaются, пуржит. — соловей же, как прилетел, так и запел. Щелкает, трелями заливается! В знайных чужедальних краях, где гора Калиманджаро, где стада антилоп наступятся, там соловей — молчальник. Хранит песни для нас, тоскуя по белым березкам, по небу отчизны милой...

Май — страда огородников. Велся раньше обычай: выносили бабки, рассадницы-огуречницы, горшок щелявый на гряды, непременно с выдернутой поблизости крапивой — это «ограждение» от напастей, от вредных гусениц, прожорливых жуков. Чтобы «нежить поганая» не прикасалась ни к чему, кроме крапивы жигучей! А высаживая рассаду, приговаривали: «Рассадушка-рассада, не будь голенаста, не будь пустая, будь пузаста да тугая: не будь красна, будь вкусна...»

Май, он всегда кажется коротким: «Рада бы весна вековать вековушкой, но прокукует кукушкой, соловьем зальется — к лету за пазуху уберегся». Начало мая — пылят бархатные жгутики-сережки осин, а конец весны знаменуют бутоны шиловника, мохнатые кашки красного клевера.

Май... Тянет в эту пору в лес, к реке и в поля — окунуться в благоуханье черемух, позоревать с удочкой у звездного плеса, слушая птичьи хоры. Сидишь на берегу, смотришь вокруг, слушаешь и возникает чувство близости, кровного родства во всем, что есть на твоей щедрой земле — от города, где живешь, до последней травинки, по которой ползет муравей!

Самое-самое-самое

«Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром, как бы резвясь и играя, грохочет в небе голубом!» Но в 1807 году первая гроза в Вологде отгремела... 2 марта, а в 1930 году услышали гром.. 21 июня!

Последний снег из-под Вологды уходит в начале мая. В 1905 году он весь стаял на месяц раньше — 7 апреля. Но в 1840 году 16 мая такой ударили отзимок, что из Тотьмы приезжали на санях. Самый был холодный май — и гром гремел, и снег лежал!

«За окном черемуха колышется, осыпает лепестки свои... В 1921 году демонстранты на праздник вышли с букетами, черемуха расцвела как раз 1 мая. Самая поздняя дата ее цветения — 16 июня 1941 года.

Первую трель соловья в 1848 году услышали вологжане... 12 апреля! Что-то очень уж рано, даже не верится!

Первое «ку-ку» раздалось в 1957 году очень рано, в первый день мая. В 1907 году кукушка прилетела только летом — 20 июня.

Кто, где? Куда и откуда?



ЛИСИЦА — на Рыбинском море наведываются рыжие на берега. Подъем воды, подпертой плотиной, выгоняет мышей и лисы их ловят, попутно собирая выкинутую волнами снующую рыбку. Повсюду в норах лисята. Норы удобные — с мягкой постелью из мха и травки сухой, с «фортинками»

— отдушинами и запасными выходами на случай беды.

КУНИЦА — в дуплах, отнятых величих гнездах, иногда в волежнике появились малыши. Их 2—6 до 8. Больше месяца они слепы и беспомощны.

ЛОСЬ — быки новые рога распят, а у лосих — отелы. Так что

все в весенних заботах! Приносит лосиха двух, молодые и одного теленка.

БУРОЗУБКА — меньше зверя в лесах нет — вся с длинным носом-хоботком около пяти граммов. В захламленных лесах с травянистым покровом, в пустотах под пнями, кучах хвороста свиго гнездо из былинок, совсем как птичье. В нем пишат 12 мышат. Между тем бурозубку само-то можно в наперсток посадить.

ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ — в Грязовецкий район, на Чагодощу и в Усть-Тюжну с юга подоспели нетопыри. В дуплистых осинниках и дубравах, по березнякам вдоль опушек усатые коночки ловят в сумерках комаров, жуков, бабочек. И более крупная летучая мышь — северный кожанок — на месте, летает у деревень за Шексной, Соколом и севернее.

ЕЖ — ежата рождаются голыми но спустя всего несколько часов покрываются иголками. В самом деле, какой же ежик без иголок?

ГЛУХАРЬ — глухарки садятся на гнезда. Бородачи-токовики кончают турниры и скоро забираются в непролазную чащу: старые затрепанные обносившиеся перья на новые меняют.

ТЕТЕРЕВА — чем дальше к июню, тем косачи токуют слабее. В отличие от глухарок, устраивающих гнезда у моховых болот, в глуши, тетерка предпочитает близость полей, старых вырубок и мелколесье.

РЯБЧИК — кое-где таежных этих хохлачей числом больше, чем тетеревов и глухарей вместе взятых, но мало кто находил рябчины гнезда. Ямка, несколько былинок да перышек — все убранство, а так гнездо укрыто в траве под еловыми лапами. ря-

бушка столь плотно сидит, что наступишь, да не заметишь!

КРЯКВА — пух, перья из грудки повышипаны, сидят клуши крякхи по гнездам.

КОРОСТЕЛЬ — то пешком, то на крыльях из Африки спешил засесть в цвету черемухи!

ОЛЯПКА — по быстрым, родниковым ручьям, лесным речкам Прионежья, Бабаевского района Замечалась на реке Лежа. Поток пеной брызжет в гнездо, да оляпке хоть бы что, — вся жизнь диковинной птички-водолаза связана с водой.

СУДАК — в Белом Озере, других судачьих водоемах судачиха уходит в глубину, судак-молочник остается в одиночестве. Как веером, обмахивает плавниками икрину, стережет ее, стоя на карауле.

ХАРИУС — в Онежском озере в перекатистых, порожистых речках Тарноги, Никольского района и т. д. мечет икрину при температуре воды 8—10° тепла. Идя против течения на нерест, хариусы выпрыгивают из воды, сверкая спинными плавниками, точно жар-птицы крыльями.

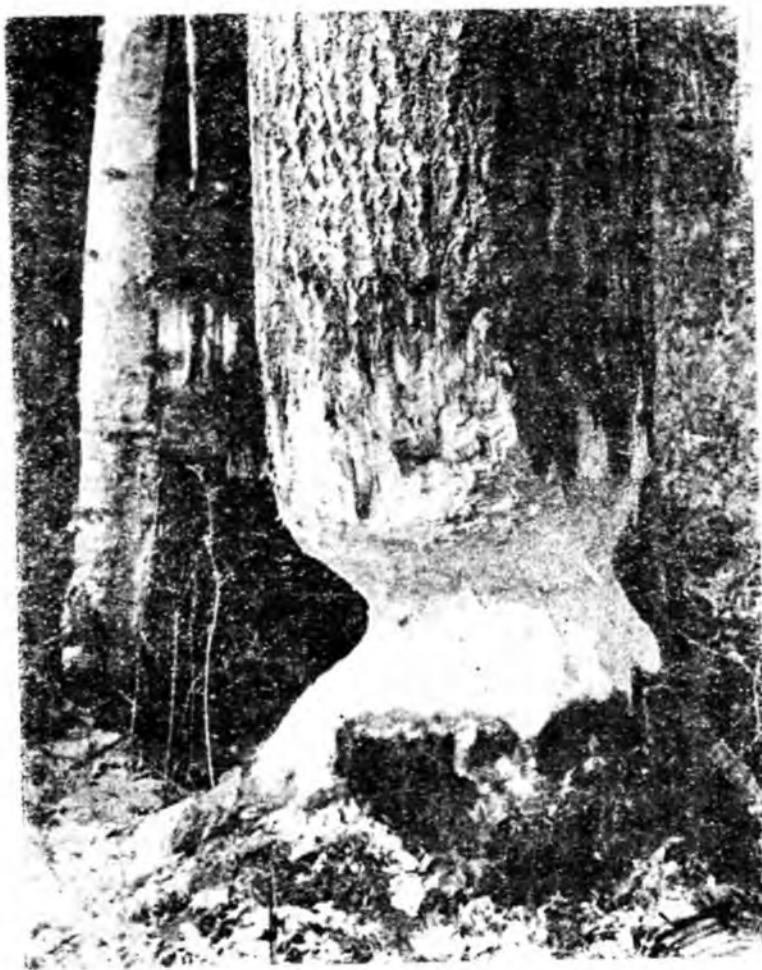
ЛЕЩ — у берегов, по закоряженному каменистому мелководью, как только вода прогреется до 14—15 градусов. На нересте буен и шумен, плещется скакет, сам же постороннего шума не выносит.

ЛЯГУШКИ — кажется, в каждой луже-переплюхе задают концертны!

ЖАБА — опустилась на дно мать студенистую свою икру.

ТРИТОН — в воде. У самца фестончатый гребень от головы до кончика хвоста.

ЖУК МАЙСКИЙ — на березах, тополях. Вылет в пору зеленого шума листвы.



Всю ночь подгрызала бобр эту осину. Велика, толста, — еще
ночку придется потрудиться!

МЕДУНИЦА

Отправился я за город, получив от Оли наказ:

— Принеси цветочков. Разных-разных: розовых, красных, синих. Мы в воду их поставим и будет красиво.

— Хорошо, — отвечал я, — попытаюсь.

— Ты очень хорошо попытайся, — просила Оля.

Она маленькая, наша Оля. Лишь когда напроказит, за-
напризничает или суп отказывается есть, мы ей говорим:
«Этакая большая, а ведешь-то себя... Ай-я-яй! Смотри, в
школу не примут». А какая ей еще школа: в детский сад
водим за ручку.

И ей трудно объяснить, что ранней весной разных-раз-
ных цветов в лесу не бывает. Кабы лето, тогда, пожалуй-
ста, любых цветов пропасть. Но в начале весны одни жел-
тые: это мать-и-мачеха распустилась по косогорам.

Было в лесу пусто, голо и сырьо. Кое-где в тенистых ель-
никах снег. Дорогой не пройти: лужи, колея раскисла. —
перасчетливо ступиши, еле сапог вытащиши, по пуду гли-
ны на него налипает.

«Э, — думаю, — Оля, букетик собрать для тебя — все рав-
но, что найти волшебный аленъкий цветок из сказки!» По-
вернулся я восвояси.

Желтых-то цветов я нарвал. Безо всякого труда. У са-
мой автобусной остановки.

Автобус, однако, задерживался. От нечего делать прошел
я от шоссе в осинник. Там было посушше. Смогрю: будто
алые огоньки из мяты, спутанной травы светятся. Нашел!
Нашел для Оли алый цветочек, — то-то будет у маленькой
радости. Она у нас цветы любит.

Приехал я домой. Оля с порога ко мне:

— Привез?

Значит, не забыла свой наказ.

— Привез, — отвечаю. — Ставь в воду, в банку. Толь-
ко сама воду меняй: ты уже большая девочка.

— Ой, да у тебя только желтые да красные. А где си-
ние?

— Будут, — говорю, — и синие. Это волшебные цветоч-
ки: сперва они красные... видишь? А потом будут лиловые
и, наконец, голубые.

У Оли глаза стали круглые, бровки наморщила:

— Правда?

— Конечно. Разве я тебя стану обманывать?
Вижу: не верит. Бровки морщит, заглядывает мне в глаза:
— Разве такие бывают? Чтобы и алые, и лиловые, и голубые сразу?

— Поживем, увидим.

— Ладно, — она говорит. — Будем жить-поживать.

Вприпрыжку-вприскочку побежала Оля на кухню просить у мамы банку, воды налить и поставить лесной букетик.

Наутро Оля проверила, как ее цветочки. Желтые подзаили немного, зато алые... Постой-ка, постой! Это они вчера были пурпурно-красные, а сегодня стали фиолетовые.

— За ночь перекрасились! — кричала Оля.

К вечеру необыкновенные цветочки из густо-фиолетовых, бархатных, впрямь стали голубыми и прозрачными — жилки насквозь видно. И начали цветочки, крохотные их граммофончики, осыпаться. Известно, их век в банке с водой короток.

Медуница — так зовут цветочек, который, как распустится, то и дело перекрашивается. Бывает и алым, и лиловым, и синим, и голубым. Шершавые листья, стебель цветка покрыты волосками. Как бы утеплены: медуница — первоцвет, распускается в голом лесу, когда нередки холода. Остальные травы, цветы под снегом спят, а медуница начинает зеленеть, как только застучат по снегам звонкие вешние капели. Почва не оттаяла, снег в ельниках, но медуница нипочем: точно огоньки заалеют в лесу на солнечных полянах, на пригреве, когда она раскроет жесткие листья, выпустит кисточки ярких своих цветов!

ЗЕЛЕНИЙ ПРИБОЙ

Напряглись почки, высунули зеленые ушки. По-детски прозрачные ушки. Очень любопытные они, эти ушки, и не счесть их — на коричневых, лаково блестящих прядях берез, на смородинах, на лиловых черемухах.

Утро. Туман столбами ходит по лесным лужайкам — розовый, если попадает в полосу света; белый — в тени хвойной. Густеет туман, напитывается влажной испариной мхов, приникая к земле.

Шмель выполз из брусличной кочки. В пыли, в трухе.

Крылья отмякшие. Прообсохнув на пригреве, он первым делом почистил лапками бархатистый ворс на спинке, на животе. Завозился, загудел. Взвился шмель — будто басовая струна в воздухе загудела. Полетел на вербу, на желтые, как цыплята, барашки. Много шмелей кружит у вербы, пахнет она медом и гудит, гудит за целый струнный оркестр. Подпархивая, тут же выются бабочки: желтые лимонницы и смуглые, пестрые, как цыганки, краливницы. Мухи снуют, испачканые пыльцой.

«Т-с-с!» — предупредительно прошелестела ель.

Березы навострили зеленые ушки. Слушают, как, прошивая истлевшие палые листья светлыми иголками, тянутся всходы трав; как муравьи шуршат; как сучья скрипят и тянет, тянет над лесом верховой ветер, несет белые с лиловыми днищами облака.

Что будет? Что? Истомились березки в ожидании.

Послышился, наконец, слабый, едва уловимый звук, как будто кто вздохнул просыпаясь, и в мятым сухой прошлогодней траве голубым глазком просияла распустившаяся фиалка.

Оливковый, в короне красного золота королек, таясь, шмыгнул в хвойные потемки. Надрывался под ношей, нес в клюве пушинку. Ага, гнездо королек строит на елке!

С оглядкой ступая, прошла к норе лисица. Кто ее видит, — некому! А лапки ставит, как печатает. Когтистые пальцы сжимает щепотью — чтоб ненароком когтем по колоднику не стукнуть, сучком не хрустнуть. Ну и щепетильна, ну и осторожна — и хвост на весу, и ушки на макушке. Зимой лиса в меховых туфлях, настолько подошвы лап опущены шерстью. Но весной шерстка повылезла, босичком лисоньке гулять до осени.

И все слышат, во все тайны посвящены прозрачные ушки берез и черемух. Им любопытно, во все самое сокровенное надо вникнуть прозрачным острым ушком.

Вдруг — хр-рясь! Сопенье, шум...

Ушки даже посморщились, кажется: нельзя ли потише?

Ну да, медведь. Пень гнилой выворотил. Раздирает лапами.

Здравствуйте, второй медведь! Звали его, да? Пожаловал на шум, — извольте радоваться.

Драка? Вполне вероятно...

Оба на дыбы: р-р-р! Р-р-р! Тянут шеи, крутят лобастыми круглыми головами. Я выше! Нет, я тебя выше! Рычат, лапами по воздуху боронят.

А молоды оба, наверняка оба — братцы. Из одной берлоги.

Плюнул первый — попал. Плюнул второй — попал!

Плеваться, это они могут, их не учи.

Расплевались и разошлись! Один — направо: «Из-за гнилушки драться? Р-р... р-ры!» Второй — налево: «Р-р-р... стану я с тобой, мелочью, связываться! Дам лапой — мокрого места не останется... Р-р-р!»

Чем дальше удалялись, тем тише, смутнее, глушше были их грузные шаги.

С былинкой в клюве пролетел королек к гнезду.

Пугливо проковылял прогалиной заяц...

Все слышат, малейшие звуки ловят прозрачные ушки берез да черемух. Сами шире, все шире развертываются — очень они любопытны!

Глядь — и нет ушек, заплескался лес на ветру молодым и шумным лиственным прибоем!

ПОД МАЙСКИМИ ЗВЕЗДАМИ

Свечерело. Пробегавшие автострадой машины сверкали огнями включенных фар, и шелест шин доносился и сюда — на заросшую молодым сосняком лесную прогалину. В посвежевшем воздухе крепче запахло всходами трав. Он был покоен и тих, этот вечерний воздух, золотисто-прозрачный от яркой зари, покойно и задумчиво догоравшей на закате.

Чем больше сумерки переходили в светлую майскую ночь, тем ярче сияла луна, поднимаясь над черными вершинами леса, тем трепетнее было мерцание звезд, тем лиловей, темней ложились тени в траве.

Пролетел стороной с хоркающим позывом длинноклювый вальдшнеп. Последний... И последний соловей умолкнул в черемуховой заросли. И водворилась тишина, в которой свершилось великое таинство весны: с легким скрипом разворачивались почки, выпуская клейкую пахучую зелень, шепгались травы, поднимая на бледных своихростках палые прошлогодние листья, вороша их, смеющая в сторону...

Внезапно над кустами в треске крыльев поднялась какая-то птичка. В лунном искверном свете я успел разглядеть, что у нее пестрая, как бы веснушчатая грудка, а ноготь на отставленном назад пальчике необычно длинен. Длинен, точно рыцарская шпора. Забирая выше и выше, приподнимая воздух, птичка поднималась к звездам. Они притягивали ее. И до чего же звучной и нежной песней она звалаась, прямо дрожь по телу! И как необыкновенно шла эта чистая, сочная свистовая песня к примолкшему под луной лесу, к майским трепетным звездам, к широкому растущих трав и благоуханию набухших почек!

Признаться, мне давно казалось: чего-то недостает майской ночи для полноты, есть какая-то незавершенность, что ли, недосказанность.

Неужели не хватало ее — крохотной звонкоголосой пичуги?

Она одна забыла про сон, отдалась звездной лунной ночи вся, без остатка, и выразила эту неповторимую, как и все на свете, ночь своей песней, торжествующе радостной, нимало не заботясь, поймут ли ее, услышат ли ее!

И на шоссе, тоже пустом в поздний час, и потом, шагая к городу, я постоянно ловил себя на мысли, что все звучит, все льется мне в уши подслушанная в ночном лесу песня лесного жаворонка-юлы, песня веснушчатого рыцаря майских звезд.

«ХОРОШИЕ РЕБЯТА»

Хотя вчера выпадал нежданный снег («в лапоть» глубиной, как говорили в деревне), сегодня — с утра солнце, зеленая дымка туманил лесные дали.

Дремно, паровито на ручье Глубоком. Пущевые колокольцы развешивает трава-копытень, — пора ей, все-таки весна на исходе. Колокольцы с ноготь величиной, чащечки их в волосках, словно бы в шерсти. Как меховые рукавицы: тепло — цветет копытень, холодно — в свои рукавицы прячется.

А Глубоким ручей прозван не иначе как на смех: летом едва сочит по нему тухлая ржавь, питающая исподволь омутки, где кому и житье, так клопам-водомерам. И вдруг с нынешней водополью в Глубокий пришли бобры, — это чуть ли не на задворки деревни. Вырыты норы в берегу. Навалены осины, ивняк прибрежный местами

будто выкошен. По обмелевшим островкам и мысам столо-
вые зверей: грудами белые, очищенные от коры прутья,
илистая грязь в отпечатках перепончатых следов.

Когда-то бобр и жил вот так, рядом с человеком и по
глухим таежным ручьям, озерам, болотам. Ценился он до-
роже соболя и был выбит, с годами прочно забыт. Поэтому
не худо ради точности заручиться подсказкой. «Речной
бобр в длину, считая с хвостом, может быть больше 1,5 мет-
ра, а по весу достигать 54 килограммов, — значится в зо-
ологическом справочнике. — Мех бобра принадлежит к наи-
более драгоценным видам пушинны. Окраска его изменя-
ется от светло-рыжей до чернобурой с сединой. Бобры —
типовные обитатели лесных рек и отчасти озер, берега ко-
торых поросли ивой, тополем, березой и другими листвен-
ными деревьями и кустарниками...».

На плесе, возле затопленного остожья, паслась плотва,
язи спинными плавниками вспарывали гладкую поверх-
ность омутов и, отвлекшись, я прозевал, когда и от-
куда взялся бобр. Вынырнул у затопленных ивовых кустов
и немедля приступил к делу. Работал он вплавь.

Звук, с каким оранжевые резцы подгрызали ивину, жи-
во напомнил мне стрекот электробригады. Бреет... Цирюль-
ник — хвост веслом, зубы стамеской!

Жесткая, длинная, как иглы дикообраза, ость шубы стек-
лянно просвечивала. Бобр передними лапками обнимал иву,
резцы его снимали и снимали стружку. Ствол дерева за-
подрагивал. Сыпались с ветвей желтые пуховки, течением
относило пуховок в омут, где снизу их, резвясь, подталки-
вали плотички.

— Ку-ка-реку-у!

Ну да, деревня близко. Петух вывел куриц в поле на
посеянный горох.

— Ко-ко... ко-о...

— Куд-куд-кудах! — горланят куры, горох делают.

— Тр-р... тр-р! — обрабатывает бобр ивину.

Бобр. Петух и куры... Мне стало весело, принялся на-
свистывать:

Выходила на берег Катюша,
На высокий на берег крутой.

Перебравший лапками по стволу, бобр повысунулся из
воды и поднял голову: что за птица такая?

Свистит?

Я пригнулся, стоя на коленях за кустиком: бобры близоруки, авось, не заметят. И все насвистываю «Катюшу», — свиста, сколько я знаю, бобры не боятся.

Свисти, птаха, свисти, — бобр спокойно вернулся к прерванному занятию.

Жадно его разглядываю: карий, спина сутулая. Бобр как бобр. Жалко, что не выделяю в нем чего-то особенного, заслуживающего внимания: ведь нет одинаковых зверей, у каждого свой, особенный облик, а я не прочь бы иметь знакомого... понимаете? Знакомого бобра! Чтобы потом в городе вспомнить о нем: как там поживаешь — зубы стамеской, хвост веслом?

Нашел! Кажется, нашел: у него ухо, должно быть, в драке надорвано и нос со шрамом.

Вот же раз: один знакомый бобр, и тот драчун-забияка!

Ухо надорвано, на носу шрам... Не то, не то. Надо бы найти кое-что посущественней.

«Крак!» — упала с треском ива в воду

Ничего, сниму бобришку на память, там видно будет. Я потянулся к фотоаппарату, этим движением потревожил палую хрусткую листву: бобр исчез. На прощанье, будто с досады, треснул широким хвостом по воде и унырнул.

Напрасно ждать, не появится больше.

На берегу ручья тропка, пробитая бобрами. По ней подходили недавно овцы на водопой, и перемешались вмятины копытц со следами пуглиевых лесных зверей...

* * *

Тарактит мотор. Мы плыли сперва Сухоной до устья Ихалицы, до деревни Выставка, где что ни изба, то под окнами поленница дров.... бобриной заготовки! Несет весной поваленных бобрами, ошкуренных осин — перенимай баграми, не ленись. Сушняк сплошной, в самый раз для топки.

— Это еще что, — поухивает дядя Вася, мой провожатый. — Это не диво, диво-то впереди!

Бобры для мужиков дрова рубят — и это не диво?

Перед лодкой, как нанятые, летят кулики, с вершин осин окликают кукушки, и Ихалица, приняв нас в свои берега, разворачивается плавно, без утайки раскрывает

тихие свои прелести. Прелести ее в заводях с темно-мерцающей глубью, в наклоненных с откосов березах с лебединой статью белых стволов. В шоколадно-розовой россыпи почек на липах и в звездочках цветущей земляники...

Медлительна жизнь Ихалицы, как бы углубленной в се-
бя, в покой зеленых берегов. Но зная река и другую
жизнь — бурную, шумную. На памяти жителей округи,
как десятки лет подряд производились по Ихалице и во-
круг Княгинь-озера лесозаготовки. Год за годом — пере-
стук топоров, визг пил. Чадные костища курились зимой,
как вулканы. Год за годом тракторные поезда вывозили го-
ры бревен для сплава...

Редко-редко теперь на берегах протеинеет хвоя. Стеной
частый ивняк и березы, осины и липы.

Года четыре тому назад высадили сюда «бобровый де-
сант». Было выпущено полсотни зверей в старые делянки,
а теперь стало сколько? Поленницы дров под окнами изб са-
ми за себя говорят: прижились поселенцы.

— Цыганкин табор! — прокричал вдруг дядя Вася. —
Во... во! Видишь?

Я не ослышался: «табор»? «Цыганка»?

Осинник навалян. Спуски с берега в воду протоптаны...

Гм... цыганка? Табор? Начались бобровые поселения,—
это вижу. Но при чем цыганский табор?

Щурится дядя Вася усмешливо. С ним ухо держи во-
стро, надует запросто, после расхоочется: «Шутю ведь,
шутю!» Знаю я его «шутю». Дома у него собак куча. Лай-
ки и гончак. Утром сядем к самовару, дядя Вася окно рас-
творит, рявкает медвежьим своим басом: «Ой вы, постре-
лята, ой вы мои хор-р-рошие!» — и псы, выстроившись в
ряд у палисадника, ждут, что им перепадет с хозяйственного
стола. Ощеряются умильно, метут лужок хвостами. Как-то
я возьми и спроси: «Как эту собачку зовут? Довольно при-
личная лайка, — не из питомника, случайно?» Видел, что
пшишка — дворняга, «кабысдох», не более, не менее. Но хо-
телось дяде Васе потрафить, раз он орет своей своре на всю
деревню: «Ой вы мои хор-р-рошие!» Дядя Вася, так же,
как сейчас, сощурился и вымолвил: «Которую? Эту-то?
Эту-то звать, как вас». Гм... гм... Как меня? Тут и нача-
лось. «Как? Как вы сказали?» «А как вас... как вас!» —
дядя Вася и ручищами всплескивал, хлопал себя по бокам
и хохотал — ложечка в стакане звякала. Рост у дяди Ва-

си — голова под потолок. Сапоги носит сорок седьмого размера. А уж голос, — ох, его бы голосу да хороший глушитель.

И в самом деле кличка у его любимой собаки оказалась такая:

— Каквас.

Разве не чудила? Не егеръ, а скоморох, честное слово, И я тяну как можно равнодушнее:

— А-а... табор? Ну-ну...

Цыганка, так цыганка: «Позолоти ручку, всю правду скажу». Обычное, мол, дело, чтобы цыганки средь леса табором стояли.

— Да я так бобриху прозвал, — насладившись моим замешательством, грохочет дядя Вася. — Че-ерная... ага! Серьги бы сй в уши, бубен в руки — всем-всем бы цыганка! Первую ее, так-скать, для почина выпустили с бобрятами.

«У него есть знакомые бобры», — я вздыхаю, во мне шевелится что-то похожее на зависть.

— А вот было, — развлекает дядя Вася меня рассказами. — По соседству тут. Явились утром на ферму доярки. Первым делом насос включать надо: коровы пойла просят. А воды-то нет: река пересохла! Что такое? «Ой-е-енъки, перед добром ли, ну-ка, веком река в эту пору не перебегала», — охают, галдят наши бабы. Пошли проверить. «Гляди-и... запруда сделана, из сучьев да поленьев!» Бобры... они! они! Без воды ферму оставили! А то еще было. Прибегает Микола Сеношонок в деревню: водяного, грит, видел. Рыжий, грит, зубы, грит, у кромешника красные, хвост в рыбьей чешуе!

Плынут берега. Стучит мотор.

Шалаш косарей, крытый сеном, под группой деревьев. Развалины избушки у кромки ельника...

— Чья? — киваю я дяде Васе.

— Охотничья! — гаркает он встрепенувшись. — Бывал тут один костромской. Захаживал... да-а! Мы с малолетства при ружье, но уж костромской этот... О-о! Ишь, середь лесу, избу отплотничал. Из Костромской области сюда наладился. Сто четыре, грит. медведя взял, после и счет потерял. Леса у нас были... что ты! Сколько лет их рубили, едва вырубили! Зверя что было, птицы что, — будет ли когда, как раньше-то?

Можно думать, были здесь великие леса: который час плывем — ни деревни, ни пашни, окликают нас кукушки с осин, и летят, летят впереди лодки кулики.

Тесней сближаются берега. Куда ни посмотри — пни, срубленные бобрами деревья. Без пил и топора перевели-таки лесов четвероногие дровосеки! Правда, лес бросовый, никудышный. Снят давно урожай золотой: миллионы кубометров первосортной древесины дала Ихалица с притоками. Дала и растит и холит второй урожай — бобровых мехов. Так стоит ли жалеть забракованный лесорубами осинник и мелкий ивняк?

* * *

На реке глаза слепнули от блеска воды, а по ручью Ка-менка — сумрак сырой, небо в завесе хвои.

— ...Сучок выдал! — Ломится дядя Вася сквозь чапыжник и бурелом, как лось, едва я за ним послеваю.

— Гляжу, сучок плывет по ручью-то. Бе-еленький! Эгс, думаю... эге! И пошел, пошел я берегом. Н-ну, откуда ты взялася, белая палочка? Вскоре и зашумело: что тебе гидростанция...

Впрямь, впереди зашумело.

Обширная затопленная водой россыпь. Постой... постой! Не ураган ли здесь пронесся, вповалку уложил деревья — вкривь и вкось, вперехлест вершинами?

-- Во диво так диво! — орал дядя Вася. — У-ух, хорошие у меня ребята!

Хаос сучьев, стволов, беспорядочное нагромождение валежин... И еще утверждают, что бобрам присущи высокоразвитые инстинкты!

Постепенно привыкал взгляд находить в дикой путанице поваленных деревьев, — а их, вероятно, тысячи, от громадных осин до тоненьких ивин, — в этом нагромождении древесного хлама нечто целесообразное, порой казалось, и осмысленное.

Плотина через ручей. Длина запруды метров полтораста, ширина в основании — не менее трех. Псн ниже еще плотина. Плотно собраны запруды из сучьев, бревен, сверху придавлены камнями. В фундаменте песок, подгребенный словно бы бульдозером. Щели замазаны илом, затыканы дерном — путь потоку только с водосливов. «Плечи», береговые упоры плотин, держатся на деревьях, как нарочно

посаженных у ее границ. Быки у плотин тоже есть — жердье, настланное параллельно потоку, причем нижний конец каждой жердины воткнут в дно... Расчетливо сделано!

К лесу прокопаны каналы.

Вот хатки, бобровые домики. Их два: один побольше, примерно в рост человека, второй — пониже. Снова сучья. дерн, утрамбованная земля, ил, сохшийся и затвердевший в камень. Да медведю в такую хату не забраться! Внутри домика, известно, порядок: в прихожей бобр отжимает с шубы воду, причесывается, смазывает шерсть жиром, будто напомаживается, и чистенький, гладкий идет в верхний этаж: там пол стружками, сухой травой притрушен, там его спальня, детская с бобрихой и бобрятами.

— Хор-рошие у меня парни-то! — гремиг дядя Вася оглушительно. — Не похулиши! Бригадой работают: двое лес валят, двое плавят, пятый начальник. Ручки махонькие, скажи тебе, как в кожаных перчатках. Резон дает, знай, поуркивает. Поуркивает, за пятерых на плотине старается, ремонт правит. Посмотрел я, душой возликовал, как гаркнул: «Хор-рошие у меня ребята!» Ох, они в воду и поскакали.

Ну да, он гаркнет, тут в всду и не бобер свалится!

Поденка летала. Пеночки заливались в кустах.

Рыба пускала круги по пруду...

И пруд немалый — разлился у плотины на несколько гектаров.

Ходил я по бобровому поселению и вызывал в воображении картины скрытой жизни его хозяев. Виделось мне жаркое лето, в зелени трав, в духоте папоротников, хвоющей и цветущего лабазника, когда в лунные ночи млеют осинные колдовским светом орхидеи-любки, мохнатые тени толпятся по ельникам, и бобры затеваются игры на пруду. Шум, плеск. Через голову кувыркаются, шлепают хвостами. Строители плотин, инженеры, архитекторы в сравнении с прочими зверьми — и на тебе, под луной покинула их степенная важность, резвятся, как школьники на перемене!.. Потом виделась мне осень, когда осины осыпают на пруд груды жесткой листвы. Пора страдная, — корма запасать надо бобрам на всю зимушку. Забывают об отдыхе трудяги: десятки и десятки кубометров сучьев, разделанных на поленья стволов осин и ив скопляются в воде у боб-

ровых хат. Мороз закует льдом пруд, снегом засыплет лес— бобрам и горя мало, в тепле снят да кору жуют! Зимой при- воживаются к поваленному осиннику лоси, того больше зайцы. Там, глядишь, волки по их следам набежали, рысь или кума-лиса: с непередаваемой отрешенностью горят из хвойной мглы хищные зрачки, впиваются в твердую корку снега когти лап, изготовленных к прыжку... Весна, наконец, запригревало. Поползень засвистал у дупла. Выходят бобры из нор и хаток через отдушины и промоины во льду. Вода ручьем струится на снег с намасленной шерсти, смерзается наледью. Кое-где берега точно горы-ледянки—маличишек бы сюда с них кататься! Но глушь окрест на десятки верст, но некому подивиться на звериный городок с его четким распорядком и трудовым режимом, с его хатками и каналами, плотинами и нагромождением поваленных деревьев.

Некому-некому: ветер гудит в кронах елей и птичка-поползень свистит, лазая по стволам деревьев вниз головой...

А иметь знакомого бобра? Ладно, обойдусь пока так. С человеком подружиться, и то сперва пуд соли с ним съешь. Бобры же... За компанию с ними осиновую кору гладить — слуга покорный!

Не нарубить ли для них ивы? Любят они ивовоз корье.

Нельзя. Не примут наверняка подачку: своя у бобров гордость. Ты им ивняку, осин нарубил, да не к месту, они возьмут и бросят поселение.

Они труженики. И характер такой у них: сами, они все сами. Запруды строят и хатки. Каналы копают и деревья рубят...

Спору нет, хорошие у дяди Васи ребята: зубы стамеской, хвост веслом!



ЮНЬ — ЧЕРВЕНЬ



Темнеет только ближе к полночи. Светог заката магов, зыблется, отражая проблески росных капель. Над лугами, где будит кого-то коростель-дергач, хлопают крыльями козодои, шныряют летучие мыши.

Днем — крик кукушки, парная духота сосен. Днем — дожди. Шумные, торопливые. Со сполохами молний и раскатами грома. Если дождь и солнце, то говорят: «Царевна плачет»...

Первое лето. В ходу красные цветы, смена белым, весенним. Распускается шиповник в начале месяца — нетерпелива «роза Севера»! Или хочется ей застать соловьевные песни?

Приходит июнь в пенных кружевах рябин, манят его в луга красные гвоздики, розовые раковые шейки, а уходит, когда под резным листком начинает зреть земляника, лесной душистый подарок.

В поле, по лесам и кустарникам — везде и всюду теперь детский сад. Весной пеночка зеленая по пятьсот песен в час без устали высыпывала, не боясь натрудить голосистое горлышко, а нынче недосуг ей потешиться: в клюве-то



Не солено хлебала! Ни с чем
убирается кошка со сквореч-
ника...

червяк, либо муха. Сыграла певунья утреннюю побудку и за работу, птенцов кормить.

У лисицы детишек до дюжины. Беспечны баловники: не проследи мама, готова потасовка. Ох, глаз да глаз за ними надо! И какой глаз — по поварешке. Вылезут глупые из норы, давай проказить, играть. А рысь тут как тут. ястреб тут как тут. Долго ли до беды? Стережет пору старая лиса неусыпно. Ночами, когда малые спят, промышляет добычу.

У лосихи один лосенок. Но тоже уж сокровище: сунулся мокрым носом в муравейник. Просили его, да? Муравьи насели, ну его щипать, кислотой поливать. Свету белого лосенок не взвидел, сослепу стук лбом о пень. Вот и шишка!

Лижет его мама, мычит: не носись сломя голову, не сади синяки — ты ж лосенок, не баран бодливый!

Озимь колосится. В нетерпении грибники: на ржи колоски — в лесу грибная свежинка. После апрельских сморчков длилось межсезонье, и вот-вот объявятся колосовики-подберезовики. Во всяком случае, надо корзинки держать наготове.

«Июнь — на рыбку плюнь» Неправда же! На глубоко-водную дорожку берут щука, крупные окунь. По ночам клюют лещ и язь. На быстрых речках, где водится хариус, идет лов его на удочку с наживкой из лётных насекомых.

В прошлом об июне горькая шла молва: «Июнь, в за-крома дунь. Поищи, нет ли где жита по углам забыто. Собери с полу соринки, сделаем по хлебце поминки». В самом деле, редко у кого по деревням к июню не истощались хлебные запасы. А до урожая далеко. И будет ли урожай? Плелись старухи с батожками за околицу после заката. Заклинали, в голос слезно причитали: «Ветер-ветрило, из се-ми братьев Ветровичей старшой брат! Ты не дуй-ка, не



«Дай, дай!» — кри-
чат, тянутся клю-
вами птенцы
дрозда к маме,
прилетевшей в
гнездо.



Щука... А и верно, в пасти зубов поубавилось, так как щука летом зубы меняет.

плюй дождем со гнилого угла, со запада... Ты подуй-ка, из семи братьев Ветровичей старшой брат, теплом теплым, ты пролей-ка, Ветер-встрило, на рожь-матушку, на яровину-яровую, на поле, на луга дожди теплые, к поре да времячку. Ты сослужи-ка службу мужикам-пахарям на радость, малым ребятам на утеху, а тебе, буйному, над семерыми братьями набольшому-старшому, на славу!»

В XVI—XVII веках велся диковинный обычай. 22 июня в Кремль «пред светлые очи» царя представлял звонарный староста московского Успенского собора с докладом: «Отеле возврат солнца с лета на зиму, день умалляется, а ночь прибывает». Неутешительная весть — средь лета, ну-ка, солнце на зиму повернуло! И звонаря немедленно запирали на сутки в темницу на Ивановской колокольне. Стало быть, солнце царю не угодило, а звонарь виноват!

«Червенем» слыл июнь в древних месяцесловах. «Червень» — значит «красный». Этот цвет считали победоносным на Руси издавна: под стягами червлеными, блестая строем копий и шеломов, неся червленые щиты, отправлялись дружины сражаться и умирать за отчую землю. И сколько ворогов-супостатов хаживало на Русь, да могилы захватчиков лебедой заросли!

Самое-самое-самое

Самый жаркий день был в 1921 году, и предвещал он засуху, недород: среднесуточная температура перевалила за +16°. Жарчай было, чем в ином июле!

Ландыш, ландыш — ну-ка, когда можно принести из рощи душистый букет? В 1957 году под Вологдой ландыши начали цветти 15 мая, в 1908 году — лишь 23 июня, на две недели позже обычного.

Рожь колосится, как правило, ближе к 10 июня. В знойный 1921 год она показала колоски даже 19 мая.

Ой, цветет калина в поле у ручья!.. У нас под Вологдой это бывает во второй декаде июня. А самое раннее цветенье калины отмечено в 1930 году — 22 мая.

В конце июня всего верней бы выходить в лес с лукошком за грибами, но в 1920 году подберезовики появились 6 июня, зато в 1936 году только 22 августа.

Кто, где? Куда и откуда?



РЫСЬ — в крепях таежной глухомани появились рысята. Под логовища занимают вывороченные гни, бурелом, расселины в камнях, пещеры оврагов.

НОРКА — обзавелась потомством. Ее угодья — мелкие захламленные речки с обрывами в омульта.

БОБР — по спадающей воде предпринимает переходы на лет-

ний выгул, «на дачи», и для того, чтобы завести новые поселения. За ночь вплавь и пешком преодолевается путь в 50—60 километров. Так с тотемских речек Комраз и Пексом бобры перешли в Сямжу и Тарногу, за Сухону в Бабушкинский район.

ПЕРЕПЕЛ — с закатом солнца выкликает: «Подъ-полоты! подъ-полоты!». Перепелка, полевая ку-

рочка-малютка, коччает кладку, состоящую из 10—12 яиц.

ГОГОЛЬ — как утят из дупла переправить, если дерево высокое? Бывает, что пуховые комочки, нос башмачком, сами отзываются выпрыгнуть, бывает, что гоголюшка утят переносит на землю в клюве.

ЖУРАВЛЬ — журка на гнезде. Журавль вышагивает возле нее — самодовольный, важный, лысинка на затылке отсвечивает. Это он очереди ждет: насиживают-то они по очереди.

КРОНШНЕП — самый крупный у нас кулик. Дик и пуглив, все замечает, никого не подпускает, поэтому лучшего сторожа для меньших куликов, обитающих в лугах и болотах, не найти. Статен, ладен кроншнеп, а клюв длинный и изогнутый, кривой. То и беда, что кривой: воды по-птичьи не напиться! Как ложечкой воду кроншнеп зачерпывает, по капельке пьет, голову запрокидывая набок.

ФИЛИН — гнездо на земле, под корневищами, у подножья старых деревьев в хвойниках. Птенцы — их 2—3 — в пуху, как в шерсти, и напоминают зверюшек. Рты пляют, есть просят. Запоздай филины с едой — друг друга эти птенчики сожрут!

СЫЧИК — кроху ладошкой мож-

но накрыть: среди сов он и точно воробей-воробьем. Примерный семьянин воробышний сынчик: совушка в дупле наследкой, он мышь словит, ей принесет — не угодно ли, сударыня? Не угодно, — мышка складывается в запас.

СВИРИСТЕЛЬ — кому от комарья спасенья нет, а нарядный красавец свиристель, щеголь таежный, птенцов целиком перевел на питанье комарами.

ПЕСТРУШКА — садовую эту птичку мухоловкой зовут, но однодневных птенчиков выкармливает соком пауков, двухдневных — целыми пауками, гусеницами, пятидневных и старше — комарами, бабочками, жуками прямо с крыльями. Ничего, мол, подросли, не поддавятся.

ЩУКА — наполовину вывалились зубы, клыки нижней челюсти, и... хватает рыб, какие покрупнее по омутам да заводям! И верно, не голодать же, раз она все лето зубы меняет.

ГОЛЬЯН — рыбешка таежных быстрых и прохладных речек, ручьев. Продолжает нерест, франтом плавает на мелководье, перекатах — бока отливают золотом, плавнички и брюшко — чернь с кармином.

РАК — линяет, забиввшись в нору.

ЖЕЛТОРОТИК

Давно ли птицы хлопотали о гнездах, по прутику, по перышку собирался строительный материал! Клок мха, листок, сухая ветошь прошлогодней травы, даже паутина — все шло в дело. Один зяблик, я видел, подбирал у автобусной остановки использованные билеты, и туда же их — настройку.

Когда в гнездах птенцы, новые заботы, новые волнения: прокорми-ка желторотую горластую семейку! Задача нелегкая. «Рабочий день» у скворца летом около 17 часов, у синицы — 18, у горихвостки — того больше, длится за двад-

цать часов. На место присесть некогда. «Дай, дай, дай!» — с утра до ночи надрываются птенцы. По двести раз на день прилетят к гнезду скворец, почти шестьсот раз мухоловка, и все мало и мало: пищат детишки, тянут клювишки.

В гнезде птенцы прожорливы, но покинут его, станут слётками, тут уж их аппетит вообще не находит сравнения. В гнезде желторотики могут и ноголодать, перетерпеть, зато слеткам еду только падавай.

Сердито нащелкивая клювом, обследует мухоловка березовые висячие ветви, выуживает из листвы комарье, мошкуру. Щелк — и пропал комарик! Возле от цветших одуванчиков суетится чечевица, с багряной шапочкой на темени и красным нагрудником. Подлетывая, бегает по пашне скворец...

Не сами птички съедят, что добудут, слетков в первую очередь нужно накормить. Пока-то они научатся добывать пропитание!

И что интересно отметить: крик голодных птенцов понимают не одни свои, родственные, что ли, птицы, но и совсем даже чужие, причем дело иной раз не обходится без курьезов.

...Поезд надо было ждать. Утомленный ночным переходом с лесного озера, я вошел во двор ближнего к станции дома. Было рано, хозяева спали. Достал воды из колодца, напился и сел на крылечке в холодке.

Отдыхаю. Лямки рюкзака не режут плечи, таежный гнус не липнет к лицу...

Стрижи с визгом чертят небо над водокачкой.

Зазвонил колокол, и вот уже летит, бодро постукивая колесами по рельсам, мимо станции состав с порожняком.

Шум спугнул ворону, бродившую по насыпи. По-видимому, она подбирала обьедки, выброшенные из вагонов.

Ворона опустилась во дворе у помойки. Не успела серая сложить крылья, как откуда ни возьмись маленький воробушек. Должно быть, в крапиве хоронился. Куцый, взъерошенный, с пленочкой у тупого клюва. Выкидыши. Из гнезда выпал, наверное. Нелетный. Таращится, перья ершом, трещит во все горло — и бочком, бочком скачет к вороне. Ему бы дальше от вороны в крапиву лезть, а он к ней бочком да бочком. Рот раззявлен в крике, язык дрожит.

Ворона что-то откопала у помойки. Придавила черной морщинистой лапой и клюет. И нет-нет и скосит темным

блестящим зрачком на глупого птенца. Воробейчик на мокрый от росы, слипшийся хвостик осел, крыльышки распустил, верещит без умолку: «Дай, дай, дай!» Просит его накормить.

Нашел у кого клянчить — у вороны!

Даст она тебе... в темечко разик... Ты и лапки врозь! Руки невольно потянулись к удилищам, прислоненным к стене дома. Если что, так и быть, не дам глупыша в обиду.

Хрипнет воробушек от крика. Ворона, знай, теребит свою находку, насыщается. Это она селедку потрошит. Отдерет кусок и проглотит. Рядом с ней воробушек на тонких ножках — сморчок-сморчком. У вороны черный каменный нос — долбанет, дух из воробья вон. Поворачивается она к нему плоским черным хвостом, так нет, дурачок все ноговит ей под каменный нос подскакать.

Вдруг ворона отодрала кусок от селедки и сунула его в разинутый желтый рот воробьянка. С таким видом, будто сказать хотела:

— На... на! Подавись!

Это называется: допек!

Накормила... Ворона — воробья!

Он сразу умолк. Трепеща крыльишками, заглатывал подачку.

Я от неожиданности привстал, чтобы получше эту дико-гинную сценку рассмотреть, но ворона по-своему истолковала мое движение и, подпрыгнув, распахнула крылья. Улетела. Обратно к насыпи.

Воробушек скрылся в крапиве у забора.

И опять только стрижи с визгом чертили туманное утреннее небо, только петухи драли горло по соседним дворам...

ТЕТЕРЕВИШКИНА ШКОЛА

Солнечная поляна. Ветер насыщает запахи земляники. Смыкаются и размыкаются тени берез. И не отсюда ли бьет зеленая кровь, растекаясь по смуглым загорелым сучьям — и широко, привольно, и высоко, чуть не до перламутровых облаков?

Струится по ветру листва, смыкаются и размыкаются тени...

Под вечер сюда пешком приходит тетеревиный выводок:

рябая с желтым горлышком мать-старка и пятеро ее цыплят в пестроситцевых платьишках-перышках.

Белые березы становятся партами.

Требовательно закоютала старка: ко-ко... ко!

По-одному тетеревята вспорхнули на березы. На сучьях понике для начала. Поршки они, летать только учатся. Пугает их, кажется неодолимым путь через поляну. Клювы разинуты. В жар бросает учеников в пестрых перышках.

А надо когда-то делать первый шаг в воздух. Надо кому-то решиться быть первым.

Переступают они цепко по сучьям, водят головками. Страшно! Страшно довериться воздуху.

Перебирал один тетеревенок лапками... Оттолкнулся! Ветка спружинила, подбросила его, будто трамплин.

Часто-часто махал тетеревенок крыльышками. Они егс плохо держали. Кувырком шлепнулся в траву, на лету запнувшись о высокую былинку.

— Ко-ко, — подбадривала старка. — Ко-ко!

Вся поляна длиною на добрый взмах крыльев, да крылья-то у тетеревят еще махонькие, розовые, по-цыплячьи неоперенные подмышки, — с первого раза никому не удалось пслянуть одолеть.

Жалобный, рвущий материнское сердце писк, — плутают поршки в траве, устали, переволновались.

Все равнс урок продолжался. Тетеревята, под одобрительное и строгое поквохтыванье старки, вспархивали с сучка на сучок, забирались все выше. Постепенно то одному, то другому удавалось пролететь поляну из конца в конец.

Походя поклевав зеленцов земляники, тетеревята возвращались к березам-партам. Без видимой, правда, охоты: волочили распущенные куцые крыльшки — так ребятишки волочат портфели и ранцы по тротуару, идя на трудный, но неизбежный урок...

ЗА СИНЕЙ ПТИЦЕЙ

Окно заслонено березой со скворечней. В щелку кровли смотрится бледная звезда.

По приезде сюда я всегда прошусь ночевать на чердак. За день убродишься, а спится и не спится в слабом мерца-

ний щелей в крыше, под поскрипывание стропил. Ломит старые кости у стролил, вздыхают они, как бабка на печи. Старые-старые бревна старой-старой избы.

Не выветрился из ее стен деготный запашок лучины, добрый дух зимних деревенских вечеров, когда собирались посиделки, жужжали в проворных девичьих пальцах веретена, огонь светца дробился в заледенелых разводах стекол и жарко вспыхивал в зрачках: чу, не гармонь ли проиграла? Вваливались парни — вышитые рубахи, витые пояса с кистями, тальянки — малиновы меха. Ну-ка, сударушки, пресницы под лавку! Колоколом раздувались сарафаны, половицы трещали от лихой кадрили, гармонь не спешала вторить каблукам! А за окнами ночь плыла, снег искрился, луной омытый. Морозко окрест по лесам постукивал, под елочки, под кустики поглядывал, искал кому сказать: «Телло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?»

Помнит, все, поди,помнит старая изба. Скрипит, вздыхает по ночам...

На задворках — заболоченная рощица. Один прок от нее: веники в баню ломать, зато соловьев — сила несметная. Щелкают, рассыпаются, дробят, да разом, да на двенадцать колен, кто пуще жару поддаст!

На жестких ресницах елок запоблескивало: проняло их, расчувствовались!

И бревна скрипят, вздыхают...

Старые-старые бревна. Старой-старой избы, — в ней теперь обретается лесничий Александр Александрович с женой, сельской фельдшерицей Валентиной Васильевной, и маленькой дочкой Катей.

Знаю, утром раньше всех поднимется хозяин, первым делом отворит ворота повети-сенника, чтобы выпустить ласточек, поселившихся в сарае. Будет лужок в росе. Сасмосвал промчит большаком. Кошка пройдет по изгороди, ворожа дожди...

Скрипят бревна. Старые-старые. Они не жалуются, у них привычка такая — по ночам вздыхать, вот и все.

Соловьи хлещут на каменку...

Разве уснешь?

Я ухожу. Ухожу на Пажу-реку. Вся ночь моя, все соловьи.

Соловьи из самых северных: где есть они, там русские селенья, где они реже и реже, там рубеж Карелии. Удивительный край!

Кто хоть раз наезжал в Прионежье, того снова завлекут синий разлив озера, в бурю подобного морю, ручьи с форелью и тайга. Тайга, тайга, лес трущобный: «там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит».

Оторопь охватывает, когда попадаешь в чащу. Тихо, до звона в ушах тихо, паутина оплела сучья и вязнут ноги во мхах... Такой дремучий хвойник подступает к седой от пены, порожистой Хмелевице. Привал мы тогда делали на хуторе у Лук-озера: явились под вечер, смотрим — медведь ходит у поваленного прясла изгороди! По преданию изустному, в Лук-озере живет щука, от старости белая. Рыбаки говорят, с лодку, во страшилище! Знаю, соврут, не дорого возьмут, медведь же на лужке — истинная правда, и по воду отправляться к ключу приходилось с ружьем.

Захолустье.

Пустые одно- и двухэтажные избы. Которые заколочены, у которых двери настежь полые — приходи и расподарайся. Былины бы послушать, сказанные про Китеж-город, да не живы давно бородачи-старики, покоятся под сенью замшелых крестов, а завалинки тетерева выпорхали, налетая из полей.

Поля сирые. Хвоц и конский щавель. Камень на камне, поля и заброшены, не пашутся.

Как увидишь отпечаток копыта, знай, то не конь богатырский прошел, лоси наследили...

Корб-ручей, Та-река, Аж-ручей, — поскитался и я с удочками, с ружьем по этой обезлюдевшей окраине. А видал ли наскальные росписи Бесова Мыса? Нет. И в Лук-озере не удил: времени было в обрез. И синей птицы не слыхал. Родом она из Сибири, вдруг объявилась в Прионежье — синяя-синяя с белыми бровями.

Не видал, не слыхал...

И нет пока доступа в тайное-тайных дивного края. Не подысканы ключи, не найдены заветные слова.

Старый, верный Вайнамейнен
Не нашел три нужных слова, —
В Туонеле их не добыл он
И в жилищах Маны мрачных...

Чтобы добыть заветные слова, герою «Калевалы» пришлось для похода заказать у кузнеца обувь из стали и железную рубашку.

Конечно, железные сапоги — стоящая вещь, не отказалася бы!

* * *

Стужей напирает с озера.

Перволетье. Канун белых ночей. Кадит сосна духмяной пыльцой. Черемуховый цвет бьют последние заморозки.

Иду знакомыми по прошлым приездам пожнями, ми-ную остожья, перелески, и такое у меня ощущение, будто ступил на порог знакомого дома. Постучаться, — отопрут ли? Или уж забыли: с глаз долой, из сердца вон?

По крутым берегам Пажи лепятся сосны, впившись корнями в гранит, не выпускают реку из окружения.

Рано. Самая темнозорь. Всех звуков — перекат болтливо перемывает камушки, и капли росы чикают по листьям. Поэтому до боли резнул по ушам этот внезапный свист, заставивший меня отступить в кусты.

Показалась семейка выдр: буро-серая мать и трое выдрят, вертлявых и коротколапых. Юлят в траве, возню подняли. Малыши, поди, впервые покинули нору. Один выдренок вывернулся из свалки, вытянул хвост и — ныром по береговому откосу. «Бух!» — вода зашлась кругами.

Второй выдренок скользнул вниз на животе, третий: грава росистая, мех у выдр гладкий. Раз так, мать тоже припала на брюхо. Соблазнилась взапуски с маленькими покататься. Здорово шлепнулась в омут, печенку, поди, отбила, дуреха!

Березы белеют. Роса чикает по листьям.

На берегу мята трава и узкие в ней желобки, где звери, как на салазках с горы, скатывались в омут. Я трогаю сломанные, помятые былинки. Ледяная роса жжет ладони. В глазах все стоит выдра-мать, как она поводила плоской, с плоскими глазами головкой, длинный мощный хвост ее почему-то напоминал хвост кенгуру, усы были сивые, жесткие и спина поднималась горбом, когда старуха, сморщив нос, свистела на проказливых детей.

Чудится мне, скрипнула дверь в лесную укромность, приотворилась на малую щелку: кто там?

* * *

Студено. Как солью, траву пересыпал иней. Ольхи съежились, с листьев простуженно каплет. Черемухи на просвет прозрачны, как кружева, и будто дым темный, хвоя сосен, запутались в ней волокна тумана.

На переломе ночи крепче нажал заморозок, смолкли соловьи. А и без них что творится в сером, не проспавшемся утре! Дятлу срок отошел, да нет, лупит клювом по сушине: др-р-р! Ей, ей, насквозь дыру пробьет! Дикий голубь-витюстень хмельно языком заплется, воркует, как в дуду подает: «Микита-дитя, под кустом сижу, капусту крошу — тут». Филин, перья дыбом, носится сам не свой вдоль приболотья и хихикается вызгливо — ошелел, очумел. Тетерева — брови раскалены, рогатые хвосты веером — бормочут и чуфыкают. Дрозды, овсянки, камышевки, угомона на них нет, — свистят, трещат, чи��ают, трелят...

Выдели-ка из лесного многоголосья синюю птицу?

А с Пажой-рекой меня свел Ефимушка. Борода седая, неизменный посошок, спина горбится — обличье у Ефимушки деревенского деда, тароватого на байки лукавые да усмешинки. Впрямь Ефимушка не прочь навести колеры поцветистей на свои лесные похождения, притом раздумчиво смаргивает под очками: неуж сомневаешься, милок?

Между тем, жизнь его точно легенда. Рос сиротой. В Соловки в монастырь отдали. Бежал. Скитался и еще мальчиконкой прибылся к Чапаевской дивизии...

Он один из первых авиаторов Севера, когда-то песни про Ефимушку складывали. Ему покровительствовал Горький. С Багрицким хаживал Ефимушка по северной тайге, когда поэт приезжал в Вологду. Водил его по тем лесам-суземам, которые теперь в притчах, переплетая быль и небыль, наделяет душой живой и трепетной, как песня. Нет той глухомани, где башнями высятся исполнинские муравьища, в грозу шаровые молнии сокрушают мачтовый сосняк, по мхам вкрадчиво выслеживают охотника свирепые рыси, а где-то на укромной поляне ветхий пасечник под перебор гуслей ведет стих про Китех-град, — нет тех лесов, да что за дело, втайне хочется верить, что гусляр тот и меня ждет — отшельничья борода по рубахе!

Один я на Паже. Ефимушка пенсионер, здоровье хламит. А небось порассказывал бы о своем житье-бытье. И

будто слышу я его, слышу сквозь молчание леса, шорохи трав и хвон:

— ...В Москву за начхозом увязался, вроде бы порученцем — вестовым. Обижают пороги учреждений: так и так, чапаевские полки раздеты, разуты, хоть бы сотню комплектов обмундирования бойцам к зиме выделили. Одна нам резолюция: вы, что, одни воюете? Худо было, бедно и голодно, чего ни хватись, всего недостаток. Дошли мы до Кремля: к Ленину за помощью обратимся. Начхоз ходы выходы знал. Долго ли, коротко ли, получили пропуск. Провели нас в приемную председателя Совнаркома. С Ильичем вышла Надежда Константиновна. Покачала головой, показался я ей, видно, совсем зеленым мальцом. Сует она мне в карман что-то. Я не на нее, на Владимира Ильича смотрю: Ленин... Ленин! Бойцы после спросят, какой он, — что отвечу? Позвонил Ильич по телефону, переговорил, прощается за руку: «Будут вам и валенки и полушибки». Выходим мы довольнеконьки из Кремля. Тогда я догадалася посмотреть, что у меня в кармане. Глянь, сахарок в бумаге. Так случалось и в хатах на постое. Нет-нет и какая-нибудь сердобольная хозяйка даст ломоток ситника, того же сахарку, — они, наши-то русские женщины, все на одну стать, сироту, милок, нутром чуют!

Я углубляюсь в лес. Красногрудая птаха провожает меня по берегу, надоедает пискливыми вопросами: «Витю видел? Ви-и-дел?» Другие отстали в лугах, ей все неймется: «Витю видел?»

Высоко стороной протарахтел вертолет.

Донесся гудок локомотива с узкоколейки.

Скоро, видно, к Паже лесорубы подберутся, рядом их делянки.

* * *

Узловатый поток разливался на плесы и, суживаясь, исчезал под нагромождением валежин, сучьев, натасканных паводком, чтобы вынырнуть оттуда, устояться в заводи и сизнова затеряться — теперь среди замшелых глыб гранита.

Камни и камни: больше камней в реке, чем воды.

С риском выкупаться, я закидываю удочку с камней с топляков-колодин, в омута и на быстрину. Только бы щуки не клевали... Что угодно, только не щуки!

Щуки в Паже — «голубое перо». Однажды они упорно брали на червя. Острые игольчатые зубы перекусывали поводки и, развязив хайло, как в ухмылке, вытащенная на половину из воды щука шлепала плашмя хвостом, уносилась и за ней летел обрывок лесы.

Помимо щук, есть налимы, полно гольянов. Мелочь — гольяны, берут численностью: порой сплошь устилают дно. Шевелятся, подвиливают. Черные, скользкие. Полное впечатление, что ожили мхи, подводные осклазные травы.

Леска ушла в глубину: там ил дрожит, струится бархатным ворсом, там ползают в соломенных хоромах поручейники и под кориевищами прибрежных деревьев, в инишах, прорытых течением, прячутся форели.

Заприпекало. Воздух густел. Он коричнево-бурый, терпкий. Стеклом отсвечивает хвоя. Во влажной теплыни вязнут лучи солнца. Один уперся в росную каплю, приник и палил и жжет. Второй, коснувшись коры березы, растекся в живое розовое и смуглое пятно.

Распускаются ландыши. Тьма их тьмущая! Процеженная запахом ландышей, едва-едва теплит горьковатая истома черемух, очищается горячий угар березовой коры, добела раскаленной на пригреве.

Весной ландышу начало положила воронка на голой сгуденой земле. Бледно-зеленая воронка листьев. Она собирала, запасая для корня тепло дождей и солнца. Со временем листья развернулись. В две, три зеленые и узкие ладони, тонкие и нежные. Сложеные ковшиком, как будто опять же солнце, той же влаги дождевой пошире зачерпнуть, ладони в назначенный срок выпустили граненый стебель с белыми, скромно потупленными колокольчиками.

Не звенеть колокольчикам. Хрупким, словно отлитым из фарфора, не звенеть, не звенеть — хранят ладони от ветра махонькую лесную звонницу!

Раскатисто гремел водопад с камней, взбивая хлопья пены.

Выплеснулась из омута рыба. По бокам черные и оранжевые крапчины, как у ночного мотылька — выпорхнула форель над водой легко, как на крыльях.

На ландыши она посмотреть? Тянутся, умоляют зеленые ладони: гляньте, диво-то держим! Ах, не вырвалось бы!

Меняю омут на омут. Продираешься сквозь кусты, и то удилищем застрянем, то леса зацепится за сук, то крючок. Обрывисты берега. Мрачны прогалины под нависью хвои и листвы. Не проникает свет в хвойные пещеры, обиталище гадюк: ощупываясь вокруг раздвоенным языком, смея точатся под камни. Плечами передернешь от брезгливости, когда гадюка, аспидно-черная, в мелкой чешуе выскользнет из-под самых ног. От сырых испарений, напитанных дурманом папоротников и хвоющей, першил в горле...

* * *

Кочка застлана газетой. Толстыми ломтями нарезаю хлеб, с котелком ухи пристраиваюсь в развалиск стульев прибрежной ивы, точно в кресло.

С черемух душистой порошкой осыпается белый цвет.

Обедаем с куличком-перевозчиком. Я за ухой сижу: наваристая, ароматная, одно слово, форель! Куличок — с камешка на камешек пробежкой, поручейников с камней сощипывает и долбит. Одного раздолбит, двух да трех обронит в воду. Ножкой их, ножкой приступи!

В нескольких шагах от воды пень. Мох на нем подушкой, дрозд там угнездился. В круглой, слепленной из дрессской трухи и глины глубокой и плотной чашечке. Сидит: хвост налево, нос направо. Пугливо сжался, голубых яиц живой инкубатор.

Инкубатор? Ну да. И, конечно, гастроном. Птенцы выведутся, на радостях то-то им снеди дрозды нанесут: червячков, буканов разных, гусениц! Еще дрозды для птенцов — зонтик. Зной пекучий, или, напротив, дождь — дрозд на гнезде крылья расправит, чтобы птенцов не промочило, чтобы не приключился с ними солнечный удар.

Но помимо всего, дрозд, по моим заметкам, может служить компасом — для нас, удильщиков-рыбаков.

Раз была у меня чашечка знакомая, тоже на пне, и птичка в ней сидела — нос налево, хвост направо. В шутку и всерьез у пня я сверялся, удачно ли сложится у меня рыбалка. Все в том, что гнездо, раз оно на пне, открыто ветрам, а птичке не радость, если под перья ей дует. Волей-неволей дрозд поворачивающейся грудью к ветру, клювом показывай его направление, как стрелка компаса — север. Меняется ветер на западный, жди дождя. А перед ненастем

риба, извини подвилься, на твоих червяков чихать не хотела, в омуты прячется и не клюет, хоть пропади на реке!

Очень дороги эти подробности потасанных повадок, что живой связью ложатся между тобой и лесом, рекой, полем, — без них они глухи, немы, нег тебе ходу за порог.

Дрозды — все для осени. Озими не зелены в багряных осиновых перелесках, дымок пастушьего костра не заметен на стерне, где скот пасется, и небо не голубеет в нитях лящей паутинки, — если не кричат дрозды. Услышишь их, забываемо войдет в тебя грустная поэзия осени деревенской: где бы потом ни был, позовет она тебя — к серым мыльным большакам, к гумнам близ заполья, и к избам, серебряным от инея, и под сень золотых лесов!

Как дрозды для осени, так снегири для зимы, русской зимы с ее ядренным морозом, скрипом половьев по укатанной колее и белыми снегами. Румянный снегирь на зайнедевлом придорожном кусту — этакий ухарь в кумачной рубахе, стужа ему не стужа, раскраснелся и серенький армик нараспашку!

А синяя птица?

Поманила, увлекла и не показалась...

Что родственного найдено ею между нашей стороной и Сибирью? Нигде ее больше нет, кроме лесного угла за Онего-озером. Только за Уралом гнездится и поет, ну еще на крошечном пятаке на Кольском полуострове. Больше нигде. Синяя-синяя. И брови белые, строгие.

За дроздами видится осень, зеленые озими, лужицы, подернутые льдом, избы с серебряными от инея кровлями: за снегириями — зима, бег саней, рыжие дымы из труб... А за синей птицей — что?

Не знаю. Не видел. Не слышал.

А уж мне пора. Время торопит. Мы все торопимся, не погда оглянуться назад, и в этом все дело.

И что-то грустно. И прощаясь, смотрю, как тонкие лучи тянутся сквозь хвою. Они туги и упруги, как струны. Еловые лапы, колыхаясь, обрывают их, сумеречней, глуша дается на Паже, сузмной реке. Звоночек бурлят перекаты, проникновенней пахнет водой, смородиной и лапортниками.

Соловей рассыпал дробь из черемух...

Пажа-река, когда удастся снова жечь костры на твоем берегу? Один был, не с кем было подслиться, как открывая-

лась ты — с ландышами и форелью, с гремучими водопадами, хвойной тишиной и душистой белой порошкой с черемух!

* * *

«И-их! И-их!» — надеяскиваясь в криках, тоскуют чибисы, кружка над лугом.

Бежит Катя, босые пятки в траве мелькают. Мать на работе, отец, бывает, по неделям безвылазно в лесу, девочка день-деньской предоставлена себе. Впереди поспевают домой два пса. Морик и Дымка, замыкающим кот Тришка. Ступив в мокрос, он отряхает лапки брезгливо. Катя пять лет, есть у нее еще Васька-кот, да лежень, все дома на печи. Тришка дымчат и пушист, как голубой песец. Куда маленькая хозяйка, платок шаталиком, ноги в цыпках, туда и кот. Летом по грибы в лес ходят. Всем обществом: Катя, ее псы и Тришка.

— Погоди! — окликнул я.

Катя оглянулась. Щенки остановились, ляскают зубами, глаза под живот: комары кусаются. Водит Тришка белыми усами.

— Скажи, Катя, как твоего котика зовут, я забыл?

— Тлиша.

Картавит Катя. Бейся, не бейся, не выговаривает «р», и все тут.

— А... лишний?

— Не лишний — Тлишка. Тли-и-шка!

Увожена-то Катюша с головы до пят. Одни глаза чистые. Голубые. Два голубых солнышка. Волосы мягкие, как одуванчик, на платок налипла хвоя.

— Понял я, Катя, котов у тебя лишка. Знаешь, мне нравятся серые мохнатые, я твоего в город возьму.

— Нет, — мотает она головой, платок сполз на шею. — Нет! Возьми лучше нашу селую овцу, она шелестнастее.

Ай да Кагя: забирай дядя с собой серую шелестнастую овцу — не жалко, баловня-Тришку ей оставь — в лес с ним ходить!

Что удивительного — кот лесной? Деревенька тоже у леса, на задворках соловьи поют. Зато в клуб кино посмотреть — тонай километров пять. И магазин неблизко, и школа далеко от избы, где свет чердачного окна застият береза со скворечней, по ночам скрипят стропила, а при-

слушаться — шумит, волнуется, как море, Онего-озеро, бьет волной в зализанные прибоем камни.

Глушь, захолустье, и умоляет Валентина Васильевна:

— Саша, уедем! Все же едут... Ребенка хоть пожалей, что она здесь видит?

Ну да, много изб заколоченных, а у Катюши день-день-ской одно общество: псы, Моряк и Дымка, да кот Тришка за лес — «там чудеса, там лещий бродит».

Отмалчивается Александр Александрович. Он не спорит, он много молчит и раным-рано отворяет поветь, выпущенная ласточек с гнезд, и лужок бывает в росе, и где-то болотом гремит стреноженная лошадь...

* * *

Пылища. Будто полсвину дороги автобус волочит за копытами!

Едем мимо полей, где сплошь камни, сплошь тупые лбы валунов. Больше камней в полях, чем земли.

Проезжаем деревни, погосты с развалинами часовен и церквей.

Принято, что церковные главы схожи с луковицами или репкой. Репкой хвостом вверх. Так же купола сравнивают с шлемами. А в Прионежье, бывало, забудь и репку, и шлемы. Древние деревянные храмы здесь венчали... шишки. Ага, сосновые! Плотники для подражания не нашли, видно, примера ближе, как в форме, внешнем облике церковных куполов повторить сосновую шишку. Округлую, в тутой шероховатой чешуе. Все рубилось из дерева, топором, и купола — не исключение. Их делали из дощечек. Подгонялись дощечки плотно, выходило точь-в-точь чешуя.

Таежная окраина, как красили тебя простодушие, из сам под стать храмы с шишками-маковками! Ог елей-всконух брали они стройность и серые, мытые дождями смотрелись в воды порожистых рек. Горели над ними закаты — будто косяк огненных коней мчал, разметав алые гривы в подисбесье. В белых купырях, в шелковых травах, окруженные дремучими лесами, стояли церквишки долгие века, у стен зрела земляника, на куполах отдыхали чайки с Онего-озера.

Жаль, не сохранились те строения: кажется, едва ли из последия церквишка сгорела несколько лет назад, и было на ней двадцать куполов.

Дорога пылит. В окнах автобуса мелькают кусты, поля, гумна. Больше камней, чем земли — поля...

Мы с Александром Александровичем направляемся в лесосеки. Свои у него заботы: плохо лесорубами соблюдаются правила, то недсруб, то переруб, делянки захламлены, — в газету их продернуть и то мало.

Кончились поля. Едем лесом. Вернее, тем, что от него осталось. А остались пни. Направо пни, налево пни, впереди пни.

Не то плохо, что лес сведен, пустоши на месте боров, которым мы еще в прошлом году изумлялись: что за мощь былинная, что за силища — пучина хвойная!

То плохо, что много дровесины зря пропало.

Здесь воз опрокинулся с прицепа на повороте и не поднят. Бревна гниют, достались червям.

Там брошены лежневые дороги. Деревянные они, ровны и прямые, как железнодорожная колея, только вместо рельсов положены брусья, чтобы машины пройти. Взят на прокладку строевой краjk. Разобрать бы лежневки, раз необходимость в них отпала, дрова — и то польза. Так нет же, все брошено... Что имеем, не храним, да и потерявши не плачим!

На расстани автобус сворачивает в лесосеки, мы выходим и отправляемся по прошлогодним делянкам.

— Хотите лесок посмотреть? — предлагает Александр Александрович.

Где его найдешь?

Все пни да пни.

Лесничий ложится на землю и через лупу разглядывает что-то в траве, кишмя кишащей букашками и муравьями.

Я беру от него увеличительное стекло.

Лес ниже травы... Новорожденные деревца тоньше былинки!

Разметив квадраты метр на метр, Александр Александрович ищет и считает лес. Лес, который травы ниже.

Быть... быть новым борам!

Но ждать надо лет сто-полтораста.

И что с этой окраиной станется к тому времени? Сейчас глушь, канюк-сарыч стонет под облаками, и голо, неуютно, все пни, пни вокруг, а век спустя, всего век-полтора здесь, быть может, город раскинется? Может быть, очень

может быть! Ведь места для тайги скоро вовсе не останется. Так, разве что парки, чтобы походить по траве босиком и привезти домой, как сувенир, сосновую шишку.

Носком сапога я копаюсь в траве. Вэт такую шишку... Рассеянно подняв с земли, я разминаю ее пальцами, собираю в ладонь семена ипускаю по ветру. У семечек крохотные крылья. Тонкие и ломкие. И на этих крыльях полетели сосенки в свое будущее.

Каково-то оно будет?

* * *

Снежница — Паже ровня. Камней меньше, сама пруже и мельче и нет засилья папоротников, зато в остальном по всем статьям речка была трущобная. С водопоями, где на влажной глине расползались отпечатки голых ступней медведя. С каменистыми осыпями, куда глухари вылетали из клюковых болот клевать дресву. И деревы с берега на берег обнимались сучьями, сосны свешивали густые кудри... Ах, кружились кудрявые головы, заглядываясь на бегущую быстрину! Падали подмытые течением есёны, гремучая вода полоскала буйные их головушки!

Закладывала Снежница крутые излуки, плутала в чаще, зеленым-зелена под хвойной тенью, упругая, мускулистая на перекатах, ровная, медлительная по омутам с белыми лилиями, с темной, коричнево-синей глубью и трепетом слюдяных стрекозиных крыл.

Не за то ли ей дано имя Снежница, что зимой выше берегов ее заметало снегом?

Пни по берегам, пни...

Круги на воде разошлись... Рыба? Здесь? Захламлена Снежница сучьями, хвоей, пахнет гнилой размокшей дребесиной.

Впрочем, леска с собой, черви тоже.

Еще бы удилище! Но где его взять?

Подобрал колышек. Дубина — не пружинит, не гнется. За неимением другого это сойдет.

Насадка воды коснулась. И вдруг темень омута озарил молнией! Серебряной молнией! Крутой бурун... Леса зазвенела, врезаясь в воду... Взмах удилища — на берегу бьется хариус. Спина черная с зеленоватым отливом, чешуя усеяна точками, радужный спинной плавник в фиолетовом крапе.

Хорош красавец! И хватка-то какова!

В Прионежье хариуса зовут «кузнецом»: каждый камень на быстрине отюкает носом, сбивая в рог всякую подводную живность. Стремителен хариус—быстрее, чем тень гитицы, носится против течения. Выскочит наверх, словит бабочку, овса ли, комара ли и падет на дно. Стоит за камнями, стоит неподвижно, точно на часах.

Следующий омут я выбрал прекрасный: камнями течениe подперто, бьет с гряды на глубину тугая струя.

Однако заброс за забросом, и нет клева.

Но что там, на дне омута?

Палка. Топляк, вероятно. Осколок раковины смутно, как-то смигивающе мерцаает. Шевелятся у берега водоросли. Поток взбивает пену, блики мельтешат, не дают возможности рассмотреть что-нибудь подробнее.

Соразмеряя длину лесы и неуклюжего удилища, я плавно вывожу червей на крючке к быстрине.

Молния в омуте сверкнула... Серебряная молния!

Подсекаю. Лишнее это, лишнее,— хариус сам себя подсекает.

Но хитер, а? Палкой прикинулся!

Оглядываюсь на своего спутника: видел ли, как хариусов таскаю? Александр Александрович все с лупой ищет лес, который ниже травы. Считает деревца — былинок они гоныше.

Рыбак-то и охотник он не мие чета! Утром отворяет почеть и идет кормить собак: молчаливый, даже замкнутый, скучлы твердые, глаза в строгом прищуре. До последнего кустика округа им изучена. До единственного на весь лес языка, до той елки-великанши, из которой вышло целых семь кубометров. И тропки звериные лесничему известны, и поляны, где лоси, чуть засентябрят, боятся рогами и копытами в кровопролитных турнирах, и глухие ручьи с фарелью... Все им исхожено, изведано. И ходок же Александр Александрович! Знаю, не поверят, но зимой волков загоняет на лыжах: измотает до изнеможения и добьется, подпустят на верный выстрел.

Что ж, лыжи здесь в почеге. О лыжнике Рахте Рагно-зерском здесь былина была сложена, как Рахта побил чужеземного «неверного борца-посединища»:

Гонец на коня садится, а Рахта на лыжи становится,
Напереди гонца в Москву ставится...

Не до рыбалки сейчас Александру Александровичу: через лупу высматривает дерёвца.

Пни, пни, — куда ни глянь.

Где уж тут синей моей птице завестись!

Канюк-сарыч кругами плавает в вышине, заунывно сто-нет:

— Кэй... кэ-эй!

Хариусы играют на перекате, а я сматываю удочку. Нет что-то настроения удить, вот и все.

* * *

В Вытегре я постарался разузнать, кто бы моей нужде пособил. Само собой, за советом обращался к охотникам, любителям рыбалки: все мы родственные души! Голос в голос «родственные души»: обратись к Смирнову. Монтером он работал на энергоузле в поселке Белоусово, сейчас диспетчером там же. Живет по улице Гагарина. Как уви-дишь медведя во дворе, иди смело. У Смирнова музей лес-ных диковин собран, одних птичьих чучел сотни. Сходи. сходи, не покаешься. Будет тебе и синяя птица и серая в крапинку, и красная в полоску!

— Медведь, — спрашиваю, — живой или чучело?

— Живой! Вместо собаки на цепи. Представления де-тишкам закатывает, настоящий цирк!

Цирк, это прекрасно. Жалею, нет опыта общения с до-машними медведями. Отправлюсь-ка к Смирнову на ра-боту.

Бетонные громады шлюзов. Гидростанция. Нефтепалив-ные суда, баржи, пассажирские теплоходы на рейде...

Волго-Балт! Хочешь, садись на пароход, кати в Ленин-град. Хочешь — в Москву, в Астрахань. Дорога открыта — голубая дорога канала.

На подстанции — гуденье бесчисленных проводов, транс-форматоры, гроздья изоляторов, чем-то похожих на дет-скую игрушку-пирамидку. Гулкий и пустоватый диспет-черский зал. Пульт с разноцветными кнопками, мигающи-ми точками миниатюрных лампочек. Напротив во всю сте-ну схема линий передач и энергоузлов участка...

Смирнов успевал и мне ответить, и негромко отдавал команды по микрофону, и, колдая над кнопками пульта, принимал рапорты с линии.

Верно, у него богатая птичья коллекция. Но дело не в этом. Пополнение коллекции идет необычно, вот что стоит отметить. Волго-Балтийский канал с водохранилищами, зеркалами Белого и Онежского озер расположен на перелетных путях. Преимущественно, перелеты совершаются по ночам. Подстанция же буквально со всех сторон опутана проводами, ку и расшибаются птицы о провода. Бывает, частенько случается.

— Кошкам принадлежит честь открытия. Не успей обойти, перышка не оставят. Лисы, горностаи, ласки тоже пронюхали, где жареным пахнет, набегают из лесу, забор не держит. А, говорите, медведя позвать на управу? Он бы навел порядок! — засмеялся Смирнов. — Силен, дома замки ни к чему. Беда, жрать здоров: по четыре кило овсянки в день, это ж чистое разоренье!

Вообще кого только не бывало в домике на улице Гагарина. Барсуки? Жили. И белки и еще кое-кто по мелочи, а глухарей, так тех целый выводок.

— Насижженное гнездо нашел, — пояснил Смирнов. — Глухарка его бросила. Собрал яйца, дома инкубатор смастерил. Ничего, вывелись. Иду с работы, а мои глухари на заборе сидят, словно ждут...

Слушал я его, озирался на сложные устройства, державшие в повиновении электрическую силицизу, и сам собой просился вопрос: много ли человеку надо? Вопрос старый как мир. Когда как, когда кто его решал. Два аршина земли надо, и так на него отвечали.

В волосах седина пробилась. Солдатом был Смирнов. Воевал. После ездил много, повидал свет. Семья у него сейчас. На работе ценият. Заочник вуза, будет инженером скоро.

Чего еще желать?

И мало ему всего. Мало!

Медведь во дворе сторожем, глухари на заборе...

Ну, а синяя птица?

— В коллекции не имею, — сказал Смирнов. — Не к спеху мне. Добуду как-нибудь при удобном случае.

Ну да, удобный случай. Провода. Птички налетают, разбиваются.

— В каталогах она значится «синехвосткой» — добавил Смирнов как бы вскользь.

Синехвостка?

Не без разочарования прошло для меня превращение чудной синей птицы в заурядную штаку!

Ну что ж, такова жизнь...

Тесно реке в берегах, кипит и бьется, и сил просит и берет у родников и ключей, и упорно в пене, в брызгах перекатов, через глубины омутов, перебарывая их застойную медлительность, спешит к морю. Приходит — тут бы и течь без берегов, да как дошла до моря, слила воды с морем, так и пропала.

Что ж, и реке без берегов жизни нет, а мечте и тем более.

Я простился, вышел.

Слепящая рябь переливалась у бортов кораблей. Наносило угольной гарью.

Чайки грудью пикировали в канал. Знакомо высвисты-
вала, сидя на проводе, красногрудка: «Вигю-видел? Ви-
-дел?» В самый раз, как на Паже: «ви-и-дел?» Сколько от-
сюда до Пажи? Часа полтора езды автобусом. От города
с асфальтом, людской суголовкой и бетонных громад канала
до хвойной тишины, до ландышей — полтора часа езды..

Еще птичка села па провод, спугнутая мной с тропы по кустарнику.

Вся синяя, брови белые, строгие.... Она! Она! Синяя птица!

Искал ее в дебрях суземья на Паже. Но здесь?.. Шагают лугом железные вышки высоковольтных передач, лязгнули вдалеке створы шлюза, пропуская в канал очередное судно, и пароходные дымы в небе стелятся, и на той стороне канала в зелени садов по угору громоздятся каменные здания города.

В кустах кукушки перекликались.

Наверное, их слышно на улицах в городе.

Как это в «Калевале» просил старый Вайнямейинен кукушку? Просил, заклинал:

Пой ты утром, пой ты ночь,
Ты кукуй в часы полудня,
Чтоб поляны украшались,
Чтоб леса здесь красовались!..

И

ЮЛЬ — ЗЕЛЕНАЯ СТРАДА



Июль — жара и росы, дары лесные, работы полевые. Укорачиваются дни. Липы цветут. Цуршное марево застилает дали. Травы по пояс, никнут в истоме. И пчел, пчел-то над цветами! Чуть горчит свежий мед с целебного разнотравья, густой и янтарно-коричневый — в отличие от прозрачного липового.

Скрипучий наигрыш кузнечиков сливается со стрекотом косилок: настала макушка лета, зелёная страда. Горяча денокосная работа: «хоть разденься, все легче нет». Встают высокие стога, по свежей косовице кормятся выводки дроздов, и скользят, все скользят рыхлые тени тающих облаков, в знайомом воздухе наносит гарью.

Выпустил ячмень усы — кукушка подавилась, не раздается окрест ее зовущее «ку-ку», сиротливее примолкли перелески.

Ржи напостылело бить поклоны ветрам. Загрузила колосья зерном. «Зажинки» кое-где и поныне празднуются по деревням. Ржаной сноп-первенец с почетом проносят по улице...

Наливаются яблоки. Сбор клубники, крыжовника и мацзини. Потрудился — сад урожаем платит.

А земляники по вырубкам и полянам, морошки, голубики-гонообобля по болотам!

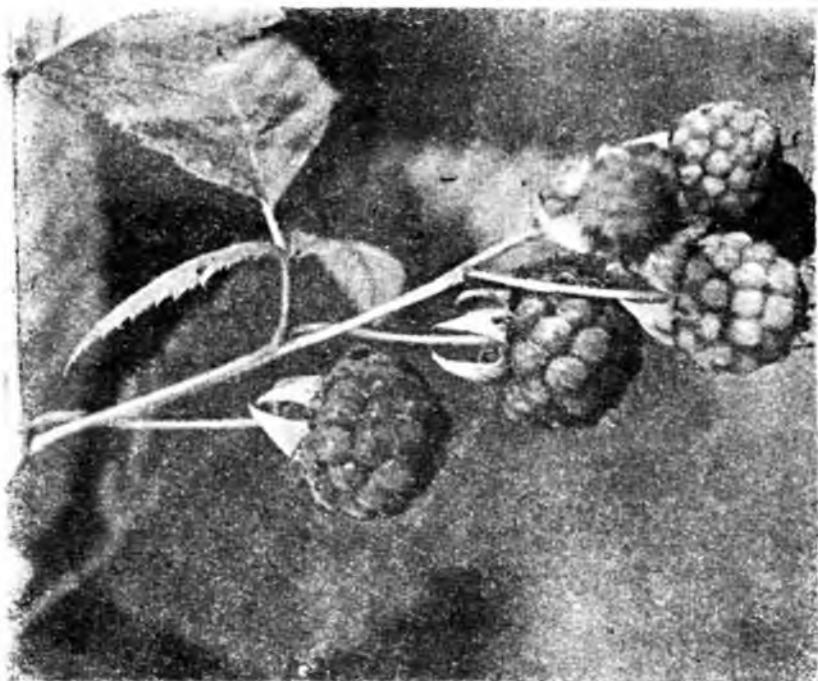
Загляни после дождя в лесу под кустик —

Стоит Антошка
На одной ножке,
Его зовут. —
Не отзыается.

В прятки с грибниками играют ранине груэди и рыжики. У подосиновиков кичливо шляпки набекрень: мы всех нарядней! К сосновым мхам привязчивы масленики: «Был ребенком — испенался в пелечки, стал стар-старичок — на-дел воротничок». У мухомора красивый в белых бородавках колпак, напудренные с кружевной оторочкой панталонцы, — но пустой же гриб! Палкой его с тропы, ну-ка размажинись, рука... Зря, зря! Ты ополчился на лесную аптеку. Мухоморами лечатся лоси. Затем полезно знать, что мухомор служит грибным наводчиком. Ядовитый отщепенец, он спутник белого боровика. Загадочна дружба первого, ценнейшего гриба с наи последним, тем не менее, подчас не обходятся они один без другого.

Над водой утром розовый пар, Б зеленых камышах и зарослях рдеста и водяной гречихи плеск рыбы пугает стрекоз, дремлющих на листьях кувшинок. Пока не распалилось солнце, поют в утренней росной свежести славки. Нечочки-теньковки передразнивают стук росы: «тинь-тень, тинь-тень». Свишут иволги... Семейство медведей — мать и трое смешных плюшевых головастиков, носы, как пуговки, — спускаются к озеру. Медведица на берегу осталась, а малыши сразу к воде. Жажда измучила. Не воду, кажется, пьют — пьют зарю, налитую в омут...

Поэтическими преданиями огняи июль. Воскрешает памяти сказочную ночь накануне Ивана Купалы. В эту ночь зловещую папоротник цветет, открываются клады, за чурканиые нечистой силой. И когда-то знахари, волхвы-злейщики купальским вечером уходили в леса, провожали их совиний крик. Уходили волхвы копать коренья, рвать тревы, от одних названий которых пробирал мороз по коже: «нечуй-ветер», «колюка», «разрыв-трава», «плакун-цвет»... Отолосок древних поверий, когда травам приписывалась злая сверхъестественная сила, звучит и поныне в слове «отрава».



Рубинами горит малина в солнечном затишье.

А в сущности, что такое «купальница»? В ее честь проявлялась сказочная ночь, а это заурядный желтый цветок. Весной его полно по сырьим кустарниковым лугам. Девочки плетут из купальниц венки. Папоротник, поскольку споровое растение, вообще не цветет ни в ночь на Ивана Купалу, ни раньше, ни после...

У природы свой отчет времени. Лен заголубел — первый листок июня на ее календаре; вереск цветет — уступает июль место августу.

Самое-самое-самое

Самым знойным за ряд последних лет выдавался июль в 1954 и 1960 годах. 10 июля 1954 года, например, в Никольске термометр показал 35°!

Снег... В июле? Север есть север, и летотисец отметил, что в 1682 году в Устьюге 22 июля выпал «снег с лишком 7 сёршков», то есть глубиной более тридцати сантиметров. Часто в июле бывает иней. Заморозки чащече вообще для июля не такое уж исключительное явление.

Самая ранняя жатва хлебов, согласно летописи, была в 1484 году — кончилась к 10 июля. В среднем, в июле лен цветёт (8 июля), пшеница и ячмень только колосятся, овес выметывает метелки (12—13 июля).

Белые грибы появляются в двадцатых числах июля, но в 1927 году сорадовали — их носили из лесу с 21 июня.

Поленика — «ананас Севера». Удивительна ароматна и вкусна! Первые ягодки соком наливаются в середине июля, наравне с черникой. В 1927 году, очень жарком, засушливом, черника однако поспела 23 июня, черная смородина — 1 июля (почти на месяц раньше обычновения).

Малина созревает: самый ранний срок — 1 июля 1947 года, самый поздний — 6 августа 1936 года.

Кто, где? Куда и откуда?

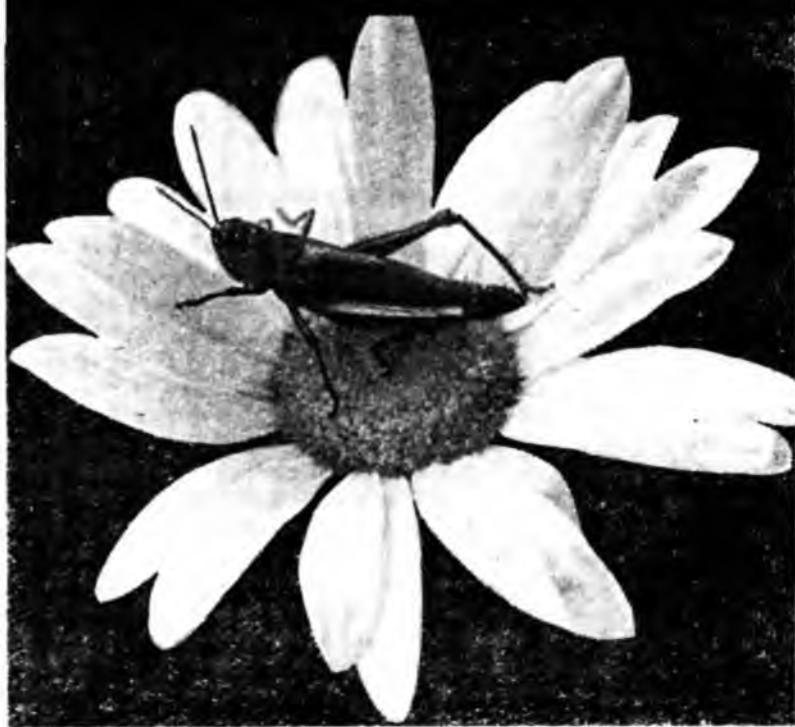


МЕДВЕДЬ — в зной забирается в чащобу. Охотно кормится ягодами, сочными так называемыми «медвежьими» дудками. Но пастух при стаде не дремли — косят



тёплый еще не давал зарок, что скота не тронет!

БАРСУК — как старые, так и молодняк, пользуются семейными корами лишь время от време-



Кузнечик на ромашке.

ни. Зачем нора? — темно в ней и душно! Бродят по лесу. Посецают по ночам ягодники, грибные места.

ГЛУХАРЬ — поднятый с земли быводок не разлетается широко, сидясь на ближние деревья, высеко, кто нас тронет? Этим пользуются иногда медведи: отряхнувшись с ветвей птенцов и ложат. Глухаря ничего себе — величиной без малого с курицу! В выводке № 5—7.

ТЕТЕРЕВ — пестрое платьишко у тетерки поизносилось, но смешна делает, линяет из ходу. Тетеревята по просыхающей росе гасутся на ягодниках, дни прозосят в теми, часов с 4 дня вновь формятся то в черничниках, то на полянах, обирая с травы на-

секомых. Любят купаться в падке, как все лесные куры.

ГАГАРА — молодые не летают здаго отличные ныряльщики. Научились занятия, учатся гагарята ловить рыбу. Выводки на озерах Боже, Белом и Рыбинском море и т. д.

КУЛИК-СОРОКА — вот кто первым пути перелетные с Севера обновляет! В конце месяца подваливают стаи с Севера — на отмели, берега больших рек, как Сухона, Юг.

ЧИБИС — табунится по лугам. Что это — среди лета, что ли осень ворожит?

БЕРКУТ — птенцы оперились однако на родительской шее им сидеть и сидеть: пожалуй, лето

пройдет, пока у орлят окрепнут крылья.

СКОПА — за рыбой улетает от гнезда на многие километры. Молодые скопы долго будут в гнезде на иждивении родителей.

КРАПИВНИК — спохватился: лету сердка, и птенцы не выведены! Гнездышки вьет на низких елочках и сосенках среди хвороста и бурелома. Очень крапивничек старательен, а никак подружке не потрафит: совет из сухих листьев и мха пять да шесть, семь да девять, она все бракует. Как узнать, какое гнездышко ей приглянется? То, в которое она станет перышки носить.

ПЕНОЧКА-ВЕСНИЧКА — шапашик певуньи ставится по перелескам, рощам, под кусточками. От гнезд остальных пеночек он отличается тем, что в подстилке одни куриные перья: лесных курябчика, тетерева, глухаря, — когда гнездо в лесу; кур домашних, — когда близко деревни поселки.

ЛИНЬ — растягивает весенний перест до второй половины июля.

Воду предпочитает прогретую и покойную, травянистую. Ленив сидень: в излюбленном омуте и икру мечет на водоросли, и живет. Линии Рыбинского моря обитают в затопленных лесах.

ГОЛАВЛЬ — какой кузнецик стрекнет невзначай в реку, тот и попался красноперой рыбине! Любознателен голавль. Что ни плывло бы наверху, хоть щепка, — попробует, не съедобно ли?

ЖЕРЕХ — по утренним зорям и вечерам «бой»: как конь, выскакивает из воды, плашмя хлещет по воде широким хвостом, глушит мелкую рыбешку и заглатывает.

Встречается в реках, относящихся к бассейну Волги, в Белом озере.

ЯЩЕРИЦА (живородящая) — ездной и засуху зарывается под корни деревьев, в листья и оцепеневает, пока не спадет жара.

МУРАВЬИ — роятся черные луговые, рыжие лесные. В муравицах столпотворение, перевалох, все на ногах! После роения самки отгрызают крылья и закладывают новые гнезда.

СОСЕДИ

Едва успел я выбежать из болота и укрыться в лесу под лохматой, издали примеченою елкой, как гроза навалилась. Бурая туча заслонила свет. Мотались елки, березы, протягивая сучья, как руки, вслед вихрю, умоляя о пощаде. Ближе, ближе раздались громовые раскаты, потом так треснуло над лесом, словно раскололось небо.

Не знаю ничего более грозного, более действующего на чувства, чем буря в лесу. Шум косого дождя тонет в нестройном ропоте потревоженных вихрем деревьев. Удары грома следуют беспрерывно, сливаюсь в гулкий, потрясающий саму землю грохот. Молнии, сверкая по сторонам, превращают дождь в слепящие струи белого пламени, вырываются из потемок то пень средь поляны, то одинокий куст напротивника, и все окружающее в этом диком хаосе звуков, в

стремительном чередовании черной темени и всплесков света обретает фантастический облик.

Что там трусливые осины — даже столетние сосны в бурю утратили свою невозмутимую степенность и суматошно, растерянно качались под порывами шквального ветра.

Но кому всех трудней приходилось, так это березке подле осинистой кряжистой сосны. Тоненькая, хрупкая березка дрожала на ветру, и будто не дождь — слезы страха проблескивали на ее зеленых ресницах. Может быть, ей сдавалось, что все молнии целят в нее, и, когда вспыхивала молния, бедняжка словно бы смаргивала, трепеща до последнего листика.

И вот тут-то я увидел лося. Всего в двадцати-тридцати метрах от меня он пережидал непогоду, как и я, под елкой. Его борода слиплась, струи дождя проложили на боках темные бороздки, а рога мокро блестели. Поджав заднюю левую ногу, лось стоял спокойно. Вздрагивая ушами, сбивал с них дождевые капли.

Когда он здесь появился? Несомненно, после меня, иначе бы столь близко человека не подпустил. Из болота его, очевидно, тоже выгнала гроза.

Я сдерживал дыхание. Слух у лося бесподобен, шаги человека, говорят, лось узнает за километры. Вон у него уши-то — раструбами! Я боялся пошевельнуться. Посудите, часто ли доводится пережидать грозу в лесу по соседству с лосем, в одной, так сказать, компании!

Конечно, если бы мы с ним на пару коротали время, то и горюшка мало. Но комары... И они попрятались от дождя под деревья! И в такой-то момент, когда я вздохнуть полной грудью не решался, сидел не шевелясь, они «з-з-з», з-з-з! Нудно, печально распелся один комарище у моего уха. Второй, рыжий-рыжий, сел на щеку. Честное слово, я видел, как рыжий перебирал тощими голенастыми лапками, словно точил, острил свое жало. Он не спешил, определенно растягивая удовольствие, прежде чем впиться мне в щеку. Что за мучение! Шлепнуть его, мокрого места не остается! А нельзя. Лося спугнущ! Я был не брит и комарище, видно, паколол себе голые пятки о мою шетину. Уныло, жалостливо пинча, рыжий пересел на нос. Чихну... Ей-ей, чихну! Выше сил дальше терпеть... Чихну! Я корчился, слезы на глаза навернулись. Но комарище, верно, был сыт. Он сгорбился, задремал на моем носу.

Мягким, прямо-таки кошачьим движением я смахнул его.

У-уф, какое облегчение! Точно гора с плеч!

И тут я чуть не рассмеялся. Чего я боюсь? Гром, молнии, лес стонет, накатит шквал — точно поезд пронесется над бершинами деревьев в шуме и грохоте! Да будь хоть того шире у лося уши, где ему услышать, что я чихну или пошевельнусь? Он попросту оглох от грозы и бури.

Сейчас проделаю опыт. Так ли уж чуток лось? Я нашел на земле сук. Толщиной с карандаш. Пристроил его из колено, и р-раз!

Сучок сухо щелкнул, разлетаясь пополам.

А лося из-под ели как ветром сдунуло. Прыжок, еще прыжок, и великан растворился в серой мутни дождя.

Так и лишился я приятного соседства. Что говорить, не деликатный поступок — выгнать соседа под дождь и грозу. И какого соседа!

БАЛЕРИНА

Вышел на пожню — лиса! Среди бела дня, близко так...

Я люблю укромные лесные луга-поженки, на которые хмуро наступаясь, наступает тайга, держа пиками остроконечные вершины елей и высылая вперед частые заросли можжевельника, лиственного молодняка. Был дремучий сумрак, мхи под ногой и колодник, топкие болотца в кляяках застойной пахучей воды, хвойное безмолвие, а тут — роскошь, стожки сена, шалаш косарей, крытый корыем.. Волнующе наносит остывшей золой костища, духовитым настоем скошенного сена, и оставляет чувство одиночества, затерянности, какое давило тебя в глухом суземье.

Приобретена мною привычка: выходить на светлые прогалины лесных покосов тихо, чтоб сучок ненароком не треснул, не качнулась еловая лапа, подавая сигнал тревоги: Из этих поженок, случается, увидишь и насущихся лосей, и выводок тетеревов.

И вот, пожалуйте — лиса! Значит, шел я тихо, не спутнул ее.

Она членоком снует. Замрет, выгнув спину, навострит уши. Кончик хвоста напряженно подрагивает. То вдруг подпрыгнет — цоп, только зубы клещицут! Опять кого-то поймала.

Кого?

Я стою. Увлеклась лиса, нет чтобы осмотреться. Страстные они охотницы — про все на охоте забывают. И эта будто занцует, вся как на пружинах. Мех у нее летний, жидкий. Нет виду даже в хвосте. Кажется лиса поджарой, долговязой. Лапки темные до колена, почти черные. Бока отливают алым, с рыжеватой подпалинкой. Грудь белая, словно лиса повязала себе салфетку.

Кормится лисенка. Неспроста у нее такие балетные да, прыжки да пируэты. И зубы — клац да клац!

Пригляделся я... Ба, а лиса-то кузнецов ловит. Лут рыкошен, сено в стогах, скрипачам негде укрыться. Лишь заведет какой на своей скрипичке пиликать, лиса — тут как тут. Цоп — и нет музыканта!

Я не вытерпел:

— Хватит тебе... Так ты всю пожню без музыки оставишь!

Услышала лиса мой голос. Как припадет от неожиданности на все четыре лапки, как припустит к лесу... Была рыжая балерина — в лес унеслась рыжая стрела. Вспыхнуло в кустах рыжее пятно, мелькнуло и погасло, как спичка на ветру.

КОЛОДЦЫ

Хлеба никли, просыпая из колосьев невырезаное сморщенное зерно. Горячий, душный воздух дрожал, зыбился, и солнце в нем висело косматое, багровое, жгло и испепеляло.

Засуха.

Грибов нет...

Того пуще охота, чего нет, и лукошко на руку, айда в болото. Авось обабков наберу. Или сырое говорушек. Опять — и то гриб.

Бродил я, колесил по болоту... Мхи пересохли, пылят едкой гарью. Голову напекло, разболелась. Во рту горечь. Чего бы ни отдал за глоток воды — горло смочить. О грибах думать забудь!

По окраине болота протекал ручей. Так и есть, нынче иссяк. Русло потрескалось.

Из болота ручей свернулся в ельник. Бурая от палой гнилой хвои земля. Мхи. Папоротники. Глухо, застойно. Глянешь вверх, неба не видно — одни серые стволы, хвоя. Гу-

ста, глубока и запутана мешанина сучьев, и со стороны бы кто посмотрел — будто блуждаю я на самом дне хвойного омута.

Между тем почва в русле ручья кое-где повлажнела. Сразу же следы объявились. Звери ходили. Волки.

Не к себе ли они в логовище?

У лисьих и барсучьих нор бывал. Случилось раз найти покинутую берлогу. Рысью лежку видал. Весной это было. рысь линяла. О траву терлась, счищая теплую зимнюю подпушь. Лежка была выбрана на прогалине, на пригреве. На пригреве, на самом солнышке, рысь с боку на бок перевевалась — как кошка на печи! А у норы барсука, которую я осенью нашел, запомнился пень. Будто на столе, на ине были разложены боровики и маслята: вот так-так, барсук грибы-то сушит! В убранстве берлоги не забыть мне мохового валика. Вроде подушки от дивана. Спал медведь, под голову его клал? Куда все проще: к весне подмокла берлога, ворочался косолапый, моховая подстилка и скаталась жгутом, толстым, как валик от дивана.

Были мне медвежья подушка, пенек с барсучьими грибами, рысь лежанка подарками леса. А вместе с тем той дверью в сокровенное, самое потаенное, чем он жив. Жив лес сам по себе. Двери на запоре, на замках — и поди, същи ключи! Но везде они, те ключи: в моховой подушке из берлоги, в рысьей лежанке-пригревнице. И в шуме хвои и в лепете листвы...

Ну, а волчье логово? Нет, рядом не ступал!

Зачавкало под ногами. Ботинки черпнули воинчей жижи.

Продрался я сквозь ельник, вышел к прогалине, как со dna глубокого, затиненного омута вынырнул.

Купыри. Лабазник. Крапива.

Шел, шел. Путался среди половодья трав.

Шел я к волчьему логову. А вышел... Колодец! Два колодца кряду!

Чьи колодцы, — не спрашивайте. Волк злодей и кромешник. Но грязной воды не напьется. В засуху волки роют колодцы. Они умеют. Умеют найти место, где вода наберется в их копанку.

Ель хвойными лапами растопырилась, тенью укрывает колодцы. Трава выше головы. Звериные следы. Духота.

А вдруг волки за мной следят?

Обернулся я резко. Мимо меня: шши! Перед лицом прямо: шши!

Черт бы ее взял, кукша пролетела. Я так и обмер, когда она пронеслась мимо. Красно-бурая, с оранжево-пламенными перьями в хвосте и крыльях, она пролетела и будто огонек пронесла.

— Эй, эй! Осторожнее с огнем! Засуха, долго ли до беды?

Пролетела кукша — порхнул и пропал огонек...

ФОНАРИК

Год выдался щедрый на лесной урожай. Особенно сочна, ароматна вызрела малина — в лесных затишках, под тенью, где не спекло, не засушило ягоды раньше времени солнцем. Идешь мимо, будто и сыт, а наберешь горсть спелого душистого дива. Хороша малинка — сама на языке тает.

И охотников же до нее по нашим лесам! Медведь — это само собой. Только медведь по ягодке не собирает. На брюхе ползая в малиннике, он лапищами заправляет ее целым кустом себе в пасть. Обсасывает, выплевывая зеленцы. Чмокает, солит и от удовольствия ежит дремучие глазки. До сладкого мишса сам не свой!

А птицы... И шустрые крапивники, шныряющие в буреломе; и дрозды — недремлющие часовые рощ; и лесные куры — рябчики, тетерева, глухари; и славки, сойки, зарянки — никто не отказывается от малины.

А раз я видел белку. Она скакала по земле, серединой просеки. Ушки с кистями, смышеные глазки-пуговки, хвост дугой... Скачет белка, несет в оскаленных оранжевых зубах спелую малинку. Всего-то одну ягоду, но как несет — Сережко, бережно. Упал на ягоду луч солнца, просияла она вся, будто алый фонарик вспыхнул.

Надолго мне запомнился заросшая просека сквозь лес, летящий пух кипрея, хвойные утренние запахи, поляны в папоротниках и белка, у которой в зубах вспыхнула фонариком ягода малинка.



АВГУСТ — МЕЖНИК



Вспышки зарниц чертят горизонт по ночам, когда одни сверчки дают о себе знать, пахнет полынью, и бездна неба усеяна звездами, и сухим смолистым жаром тянет от леса...

На распутье, как межа лета и осени, август — месяц «зарев» — славян-русичей, «серпень» — поляков и чехов.

Время массовой жатвы, время озимого сева.

В старину август звался «густоедом» и «соберихой»: все созрело, всего густо. Без ног, без дорог хаживали пословицы: «Что соберет мужик в август-густоед, тем и зиму сырт». «Август — ленорост припасает лыняной холст». Наливаются яблоки от росы к росе. Огурцами, укропом запашисто натягивает с огородных гряд. Ботву помидоров увешивают краснеющие шары. Сидит репка: «сама клубочком, хвост под себя». Туже завивает кочаны капуста. Забавна о ней народная лукавая загадка: «Шаровита, кудревата, на макушке плешь, на здоровье съешь!»

Лесной вестник августа — бруслица. Зарумянилась — значит, бьют последние часы лета, часы его последнего месяца хлебосола.



На высвеченной солнцем еловой лапке пригрелась бабочка..

По прогалинам, на вырубках, по речным и озерным берегам горят пижмы, лиловеет короставник, луговые васильки. А ромашек, а зверобоя и подмаренника! Охапки цветов бросает к ногам путника лес. Зато по суходолам трава побурела, выметала семена.

И грибы ушли в лес, — не то, что в перволетье, когда искаль их приходилось по полям, прогретым солнцем.

И роса в тени уже не просыхает до полудня.

И отлетают пернатые — те, кого ждут дальние дороги. Исчезли соловьи, кукушки. Ведь зимой те же соловьи — гости тропической Африки. От Онежского озера до Танганьики, действительно, путь не близкий. Пеночка-таловка зимует в Индонезии. С мокрых лугов по Сухоне и Северной Двине через всю Сибирь пролегают маршруты овсянки-дубровника до Вьетнама. Из тишины — в гром и гул сражений, где джунгли в огне, где пылают деревни от напалма, и не туман клубится — ядовитый газ облаками опускается на землю, неся смерть...

Август, август — пора разлук! Бередя душу, кричат журавли на убранном гороховом поле. Вдруг взлетают, выстраиваются треугольником и, делая круги, поднимаются

выше и выше, тоскливо курлыкают. Это молодняк тренируется, идет репетиция осеннего похода.

В стаи сбиваются зяблики, трясогузки.

У белки новость: опять маленькие! Хотя осень на носу, прыгунья-воструха не горюет — всего вдоволь в лесу, отчего бы ей не воспитать новый, третий по счету выводок? Единственno, чем перед осенью поступилась: хвост стал пушистый, не в пример летнему. Если недород еловых и сосновых шишек, то белки, понятно, не заводят под осень гнезд. Напротив, старые бросают, уходят в поисках кормовых угодий за сотни километров, преодолевают болота, реки, озера.

На зорях воют подросшие волчата. Обжоры они, волк с волчихой едва успевают таскать к логову добычу.

Медведи ходят на овсы. Так проказливый мальчишка, закусив губу, не крадется в чужой огород за репой, как огромный, с виду неуклюжий медведище подходит к полю! Все спокойно, не напахнуло в ноздри запахом человека — принимается мишка за пир. Уж он пирует: лапами загребает овес в пасть, жует и чавкает. После сладкой малины лесной то ли хорошо, то ли дородно заправиться овсечом. Наевшись до отвала, медведь непременно покатается по овсу — расправит косточки...

Лисята промышляют вместе с матерью. Да вот беда, вот оказия — лисонька охромела. Подошвы лап опушились, волос пока колюч, короток — щекотно бегать лисе. Шутят охотники: «Патрикеевна подковалась».

В августе «ночь длинина, вода холодна». Налим покинул убежище под корягой, хватает ершей да пескарей. Лещи пасутся на водяной гречихе. Стаями разбойничают окунь, бьют мальков.

Дождались рыбаки-удильщики своего времени!

Свой календарь в лесу. Когда ужата выплутятся из яиц, то можно сказать: миновало лето красное...

На лугах настлан лен вымокать под росами. Аккуратные серые дорожки среди зеленои отавы издали приметны, похожи на половики: по ним, ступая неслышно, входит на двор осень.



Самое-самое-самое

Самая ранняя жатва, отмеченная за последние десятилетия, была в 1924 году, когда начали ее 3 июля. В 1922 году зерновые долго не поспевали, уборку озимой ржи начали только 31 августа.

Под Вологдой начало теребления льна, в среднем, падает на 16 августа. Однако бывало, когда за лен брались гораздо раньше — 7 июля (в 1905 году). Так же и с другими сельскохозяйственными культурами: свес жнут обычно с 23 августа, но в 1923 году затянулись с началом косовицы до 21 сентября.

Кто, где? Куда и откуда?



ЛАСКА — крошечный хищник-пролаза не признает сезонных перемен: попадаются в августе и самостоятельные ласки ранних выводков, и слепые беспомощные детеныши в гнездах.

ЕНОТОВИДНАЯ СОБАКА — енотики-сеголетки на промысел выходят в сопровождении родителей. Прекрасно плавают, поэтому в Рыбинском море забираются на острова, хватают утят-поздышей, в обмелевших лужах ловят рыбу. Там, где много енотовидных собак, почти начисто исчезает дичь.

РЫСЬ — молодые стали по окраске меха похожи на взрослых.

Охотятся выводки в лесной чаще.

БОБР — возвращается постепенно с летних «дач» к коренным поселениям. В связи с тем, что к исходу августа травы теряют сочность, бобры все больше питаются корой деревьев, ветками. От воды в травяных зарослях проложены зверьми укромные сверху трудно прослеживаемые туннели, натоптаны кустарникам тропы. Во всю идет строительство плотин, каналов — не сидят рабочие без дела!

БЕЛКА-ЛЕТЯГА — пошли пробные полеты у маленьких летяг, появившихся на свет в июне-ию-

ле. На землю не спускаются, гла-
нируют к подножьям деревьев.

МЫШЬ-МАЛЮТКА — опять, во
второй или в третий раз мышат-
та! Устраивается с шарообразным
гнездом на открытых полянах, лу-
жайках у воды, в густой траве И
верно, малютка, раз длина мыши-
ки 5—7 сантиметров!

КРОТ — в случае засухи пред-
принимает походы во влажные
низины.

ГЛУХАРЬ — в ягодниках по ёса-
рам, в мховых болотах.

ТЕТЕРЕВ — в ягодниках. Посев-
шает овсы. Молодые чернушки
отделяются от выводка, держатся
особняком.

РЯБЧИК — с конца месяца мо-
лодые начинают перекликаться.
Матка-старка с петушком оста-
ляют выводок.

БЕЛАЯ КУРОПАТКА — встре-
чается выводками там же, где тет-
терева — в брусличниках, — на

жнице, а также по сухим гривам
болот, по вырубкам.

ПЕРЕПЕЛ — склекло: «Подъ-по-
лоты! подъ-потопы!» Со склонен-
ных лугов перепела передвину-
лись в посевы хлебов.

КРЯКВА — ёвочки повзросле-
ли, «взматерели», как говорят
охотники. Однако утата поначалу
неохотно пользуются крыльями,
предпочитая при опасности зата-
иваться. Дни проходят в тихих,
защищенных от ветра местах ве-
чером непреленно вылетают жи-
ровать на хлеба и в кормные, но
менее безопасные водоемы.

ЛИНЬ — облегчился и престо-
пень. Худеет, снижением аппети-
та отмечая приближение осени.

КАРАСЬ — как и линю, тоскини-
во ему в пострадавшей воде.

ЯЗЬ — в Рыбинском море идет
перемещение из прибрежной по-
лосы в открытую часть водсемя.



Что ни ночь, вспыхивают новые звезды в небе, — осень близится. Что ни
день, гаснут белые звезды по омутам, — отцветают лилии.

ЕДОМА

Есть прелесть в том, чтобы провести сутки-другие в охотничьей избушке в сердце лесов. Рубленные из бревен, про-конопаченные красным ворсистым мхом и крытые еловым корыем или плахами, избушки эти прячутся в суземье. Нары, грубо сколоченный стол, черные прокопченные стены и низкий потолок, очаг из камней вместо печи. Но приди сюда после утомительного блужданья по лесам и болотам, скинь рюкзак с плеч, затопи очаг-камелек — в его красном зыбком свете преобразится убогий приют. И не столь огонь очага тебя обогреет, сколь забота охотника-трудяги, поставившего на перепутье хижину, открытую для всех...

Славный ведется обычай: уходишь — оставь спичек, дрова и растопку, насыпь на стол сухарей, соли в тряпицу завяжи... Как знать, не понадобятся ли кому-нибудь твои крохи? Ведь и после тебя придут в избушку люди. Вдруг у них спички кончились? Вдруг они голодны?

Порой в избушках можно найти полку с книгами, и попадется на ней то красноармейский букварь 20-х годов с волниющей прописью: «МЫ НЕ РАБЫ», то вовсе старинный, писанный от руки том в переплете из телячьей кожи.

Ограбить, запакостить избушку — преступление. В недавние времена каралось оно сурово, без снискождения...

Кое-где, в частности на Пинеге, глубинные охотничьи избушки зовут древним словом «едомные».

Запомнилась мне одна едомная избушка в сосновом бору, где он, редея, смыкался с чернолесием.

Летом где-то близко от нее было гнездо филинов, и эти искони таежные птицы налетали сюда аккуратно, не боясь ни огня, ни меня. Я их не трогал, я любовался ими: экие страшилища! Круглая кошачья морда с крючковатым, крепким, как кремень, клювом, рожки из перьев, свирепые, налитые золотисто-оранжевым огнем очи... Очи, зрачки которых чутко дрожат даже от дыхания птицы! Крылья в ржаво-пестрых и черных пятнах: когда филин сидит, они кажутся плащом, плотно облегающим его с боков. Поражали и лапы филинов с острийшими хищными когтями, спрятанными в густом пуху.

Филины появлялись порой, когда чуть начинал гаснуть закат.

— Уху-у... уху-у! — их дикие крики звучали горько и тревожно.

Утром можно было прямо с порога избушки подманить пищиком рябчиков. Эти прибегали ко мне пешком — сенькие, наизнанку, перемокшие в росе.

Но я не трогал их...

Рябчики называли тоже были одного выводка. Выводка, уцелевшего несмотря на близость филинов.

Ведь филины не охотятся на пороге своего дома. Это закон для всех: нет охоты возле собственного гнезда.

Что же мне, человеку, было нарушать заведенные в лесу порядки?

ОТ ДОЖДЯ ДА В ВОДУ

Посветлело. Гроза ослабила натиск. Свет был испитой, мерклый. Свет в изреженных ливнем, в подпаленных молниями тучах, но не в приречных лугах, но не в лесах, где низкая пасмурь и дождь породили серые паровитые сумерки. На воде вздувались пузыри. Река будто кипела. Березы и осины тоже кипели мокрой листвой. Это дождь пропустил шибче.

Из-под обрыва вылетел перевозчик. Вздрагивая косыми крыльями, он точно нитку протянул к камню в заводи. Серый, черноглазый, на стройных пружинистых ножках. Качнув хвостом, присел с камня в куличьем своем реверансе:

— Тили-тили!

Из дождя едва слышно: «Тили-тили!»

Кто не день, не два, кто подряд много времени отдает рыбалке или охоте, блужданью по лесам, берегам рек и озер, тот дорожит встречей с любым, пусть самым непримечательным их обитателем.

Чего бы такого — кулик-перевозчик? Примелькался, видан-перевидан. Штаха не из ряда вон. День-деньской летает с берега на берег, по песочку гуляет и лапками на песке будто грамотки пишет. Кто хочет, читай — о знайном томлены трав под палящим солнцем, о заиахах тины и речной воды, о рыбе, пускающей круги на заре... Все в грамотках записано. Да кому читать? Шел пастух по берегу, коровы следы искал. Рыбак на омута заглядывался. Ребятишки, те, не читая, своими босыми пятками куличью грамотку заново переписали — и скорей купаться. Вот тебе и тили-тили-куличок!

За дождем едва видно, в дожде едва слышно, и последние его грамотки наверное смыло-размыло...

Чего такого — куличок-перевозчик, но почему-то теплее делается на душе, когда его увидел, и река, луга-наволоки за дождевой пеленой, и лес стали мне ближе, родней. Видишь: елка накренилась с обрыва, с хвойных лап течет и булькает. Еще молода, но сердцевина дряблая. Завелись в елке муравьи. Темным-темна елка, растопорщилась лапами. Стоит какая-то рассеянная. Кусты ивовые — в развилах сучьев, как птичьи гнезда, висят обсохшая после весеннего паводка тина. Прижались кусты к берегу, оробели в грозу... И так у каждого куста, каждого дерева находишь свое выражение, вдруг начинаешь их узнавать. Как в городе нет одинаковых домов, так и в лесу все деревья разные.

И уж камня черного, мокрого, словно залакированного камня, подавно другого такого нигде нет — ведь с него раскланялся тебе куличок!

— Тили? — спрашивал кого-то перевозчик.

— Тили-тили! — отвечал.

И забрел с камнем в реку.

Было в заводи мелко. Куличок взъерошил перья на точеной шее и присел белым, как в крахмальном переднике, животом на воду. Расплескался крыльями, исчез за брызгами. Мало показалось — окунулся раз и другой с головой...

Грозовые громады сваливались за лес, смаргивая назад молниями. Уползали, волоча рваные ошметья туч, и огрызались утомленно, и дуло от них холодом.

Ливень иссякал.

А этот куличок разве не чудак? От дождя лазит в воду!

ПОВЕСТКА

Великолепны были издали эти три подосиновика, румяные и крепенькие. Главное, сразу три! До чего нарядны их шляпки среди белых мхов, блеклой травы, пронизанной солнцем, под навесом сосновой хвои!

Но когда я подошел ближе, осталось наклониться да срезать грибы и положить в корзину, как стало ясно: грибов — два, а третий — осиновый лист. Багряный, в желтых прожилках — долго ли было его спутать со шляпкой подосиновика?

Я вспомнил о багряном листе в полях, где стояли осавистые стога соломы и по стерне перепархивали табунки скворцов. Пропуская меня, табунки поднимались в воздух, сбиваясь большой стаей. И в шуме, трепете крыльев скворчиной стаи, и в грузных тучах, наползающих из-за желеющих лесов, было что-то грустное, берущее за сердце.

На подходе осень...

Кому как, а скворцам, прочим птичкам-певуньям багряный осиновый лист на блеклой траве — повестка к скорому отлету с родимых мест в сторону южную.

ЗАСАДА

Фуражка с зеленым, изрядно выцветшим околышем. Галифе. Гимнастерка, подворотничок всегда свежий. До блеска начищенные, поскрипывают сапоги, распространяют благоуханье ваксы. Добавить к этому солдатскую выправку. Кажется, и весь портрет Павла. Вечно Паша застегнут, как говорится, на все пуговицы. Лишнего слова не скажет. Ровен и невозмутим. И ремнем затянут. На ту уставную дырочку, когда под ремень пальца не просунуть. Хоть сейчас в строй. На правый фланг. Потому что рост у Паши — ребятинки дразнятся: «Дяденька, достань воробушка».

Идем мы полями: Павел — с работы, в колхозном правлении он бухгалтером, а я — с охоты.

Болят у Паши зубы, держит припухшую щеку ладонью.

— Съезди в больницу, — не вынес я. — Будет себя мучить. Отчеты у тебя никогда не кончатся, на твой век цифри хватит.

Не удостоил ответом.

А, тогда терпи!..

Перелезая изгородь, он коротко произнес:

— Волк.

Таким тоном: что сорока на заборе, что волк в кустах или тигр полосатый — ему безразлично.

— Да? — вскинулся я, потянувшись к ружью.

Поля в окаймлении щетки леса. Скирды соломы там и сям рассеяны. Пылит по большаку автобус.

— Где волк?

— На скотомогильнике.

Я схватился за бинокль. До бугра за полями около километра. Уметь надо на таком расстоянии на ходу разглядеть

дерь зверя. Недаром ты, Паша, служил на заставе, старшина по-ранвойск.

— Что он делает? — Паша отнял ладонь от щеки.

— Катается, — говорю, — нахрался падали, брюхо проминает.

— А-а... — И дальше зашагал.

Тыфу-ты! Волк ведь! Хоть бы бинокль у меня взял. Часто ли волки на глаза попадаются!

Дома Паша — я квартировал у него — быстро переоделся. Собрал несусветную рвань с подволоки. Опорки шлеяют, прихлопывая его по пяткам.

— В засаду со мной пойдешь?

— О чём речь! — откликнулся я.

— Я думал, откажешься.

Ничего себе, любезное приглашение.

Сборщики утиля от веку сюда не являлись: драные брюки, вата из прорех лезет, истрапанная кепчонка, фуфайка с прожженной дырой на спине... Это — мие? Устроим собакам праздник! Проходу не дадут!

— Павел, ты уверен, что волк возвратится? Сыт по горло, я видел.

Желваки по скулам у Паши заперекатывались. Заломил брови, того жди, отчеканил: «Отставить разговорчики!»

Ладно, ладно, пугалом по деревне пройдем. Ладно, пусть по-твоему, будет тебе брови заламывать.

Папирозы взять не позволил. Ничего. Понятно. Он прав. В засаде курить — ни-ни. Но что мы не поужинали... Карапулиз волков натощак всю жизнЬ мечтал. Да скорее я взвою, чем волки!

На скотском кладбище, куда мы поспели после заката, Павел выбрал самое что ни есть неподходящее место: груду камней напротив разрытой ямы. По-моему, гораздо удобнее кусты. Ивняк, ольшаник густые, частые. Другое дело камни, открытые со всех сторон. Главное, ветер от ямы, зловоние жуткое.

— Чего вы там егозитесь? — цикнул Павел шепотом.— Я вас, между прочим, не звал, сами напросились.

Он со мной на вы! Он еще и в обиде!

Лег — и не пошевельнется. В серой рваной одежде похож на валун.

Валун и есть, глыба бесчувственная!

Бока резало остроребрыми камнями. Немея затекали ноги. Сочтемся, Паша... Попомню твое «вы» и «я вас не звал»! Стемнело.

Последняя автомашинка прошла к амбарам, с усилием толкая по дороге свет фар...

Голова тяжелеет, веки налиты свинцом. На ничтожный миг я сваливаюсь в дрему, и в это время происходит неповторимое: кусты ушли. Они отступили в темень, я не заметил, как они ушли, но точно знаю — ушли, пропали. Ночь замкнулась плотнее, проглотив и кусты, и вихор бурьяна. и все-все — ничего не осталось: плоская земля да темень. Темнота не подвластна человеческим ощущениям. Она угнетает. Подавив слух, зрение, она дает волю какому-то забытому инстинкту, что сродни детскому страху, когда боишься войти в знакомую комнату, если она погружена в потемки.

На шершавых травах оседает роса. Ледяная, тяжелая. В ней горечь вянущей листвы и слепое мерцанье редких звезд. Заблудились звезды без поводыря: две потеряны мигают где-то на грани земли и неба, третья — внизу, в пропале, на самом дне потемок...

Разлилось неуловимое сияние. Как бы изнутри, меркло, тускло светят бурьян и травы, убранные поля и скирды соломы.

Сморенный сном, упал жучок с былинки. Его сбила капля росы. Он свалился на спину, тормошится лапками и замирает.

Вижу окоченелого жучка: вороненые лапки и членистое брюшко, гладкую блестящую округлость надкрылий. Слышу, как ворсистых ладоней листьев касается серебряная роса и свертывается каплями...

Ночь.

Ночь, когда ходят кусты, светит трава, и к ногам, тем, что не спят, ложатся звезды.

Дымка рассеивалась. Светлело.

Видна отчетливей яма. Кусты вернулись, трепеща листьями, ловят вздохи полуночного низинного ветра. Лужа, ветер набежит — она сморщится; устоится вода, в ней шевелит лучами, зыблется звезда, тонкая, как прокол иголки.

— У-а-а! — простонало за полями.

Вырвался протяжный, леденящий кровь стон из болот, из заплывших вонью, задущенных комариным зудом хлябей, из дурмана хвойников и как бы перекинулся в поля,

к спящим деревням, где бредят овцы по хлевам, улицы
лахнут бензином, молоком и чутко дрожат в ночи провода.

От ямы отделилась смутная тень, ускользнула в поля.
Лисица навещала! Добрый знак, что не учудила засаду.

В том, что на нас рванье, есть смысл: в повседневной
одежде, пропитанной потом, табачным дымом, хранящей
сотни запахов жилья, явиться в засаду — значит обречь де-
ло на неудачу. Ниюком волки не обделены.

— У-а-а, — стонет за полями.

Это старый волк вернулся к выводку. Тот, который по-
сыпал на падали. Воют, скулят волчата. Лижут, обнюхива-
ют отца: где был? Что ел? По следам старика — пята в пя-
ту — пойдет семья от логова.

Вой умолк.

Идут...

Вкрадчиво царапают когти в палой листве. Тушат шо-
рох шагов намозоленные подушечки лап. Бесшумен волчий
шарыск. Но затрецдал дрозд. Его крик, как эстафету, под-
хватила зорянка. За ней — крапивник. Шмыгнул с лужай-
ки заяц, обмирая от страха, пустился бежать: волки! Глу-
харь, просиживавший зоб, набитый кислой лиственничной
хвоей, загремел крыльями о сучья в темноте. И лось встал
с лежки, ощетинил загривок, задвигал ушами. И медведь,
раздобревший на малине, уступает дорогу серым зверям,
зопровождаемым писком и хлопаньем крыльев невидимых
в ночи птиц.

Идут...

Ломит глаза. Веки горячие. В ушах звоны. Лучше уж
было поужинать, все равно как оглох и ослеп! Павел, бы-
вальный пограничник, применил проверенный способ: нато-
шак видишь зорче, слышишь лучше.

А я?

Камни серые отдали накопленное за день тепло и холо-
дят. Зябнется.

Ничего не вижу. Не слышу...

Волки подошли перед рассветом. Бот они — справа об-
текают кусты.

Мы в низине, зверей хорошо видно на фоне неба.

Павел будто спит. Не сразу замечаю движение стволов
его ружья. Медленно стволы перемещаются за стаей, и в
этой тяжелой, спокойной медлительности такая сила, что
мне не по себе: твоим врагам, Паша, не позавидуешь!

Волки сошлись у ямы полукругом. Выцеливай любого, так что же Павел? По мысленному договору первая очередь его. Выстрелам бы греметь, свистеть картечи. Чего же тянет волынку?

Все мое внимание было приковано к волкам, но спроси, горели их глаза в темноте, — не скажу. Не помню.

Помню, что сидели они по-собачьи, на задних лапах, сторожко подняв уши. Помню, вспотела у меня ладонь, сжимавшая ружье, и веки были горячие и воспаленные от напряжения.

Волки занялись падалью. Чавкали. С хрустом дробили зубами кости.

Сильными лапами они глубже раскапывали яму. Не поделили чего-то, поднялась возня.

В рычащий клубок, сплетенье клыков и когтей, вдруг ударили с ног света. Красный сноп! Знаю, не поверят, но я видел, как летели красные раскаленные картечины. А отдачи в плечо, выстрелов своего ружья не ощущил.

Тотчас вскочил с камней. Вскочил и — ноги подогнулись. Отлежал, онемели.

Два волка в предсмертных судорогах корчились у ямы.

Два? Всего два?

Их было больше...

Павел добил подранков прикладом и, шлепая опорками, поволок за хвосты на взгорок подальше от ямы. Молчком, словом не обмолвясь.

Ну это уже чересчур! Расстегнись хоть на одну пуговицу, рассупонься ты — не в казарме ведь, милый ты мой. Порадуйся удаче, черт побери, камень ты бесчувственный!

Меня трясло, как в ознобе. Во рту сухо. Желая поразить сурового напарника, я вынул портсигар:

— Закурим, Паша.

Папиросы взяты наперекор ему.

— На, — протянул я зажженную спичку.

Огонек осветил его лицо. Спичка дрогнула в моей руке. Но щекам Паши текли слезы. Невозмутимый валун, застегнутый на все пуговицы кремень-человек — плакал. Плакал, как мальчишка.

— Что? Что уставился? Зубы... Как ночь, так места себе не найду. Хватит... завтра выдеру!

У него болели зубы. Все время, пока мы сидели в засаде.

Да-а, это характер.



СЕНТЯБРЬ — НОВОСЕЛ



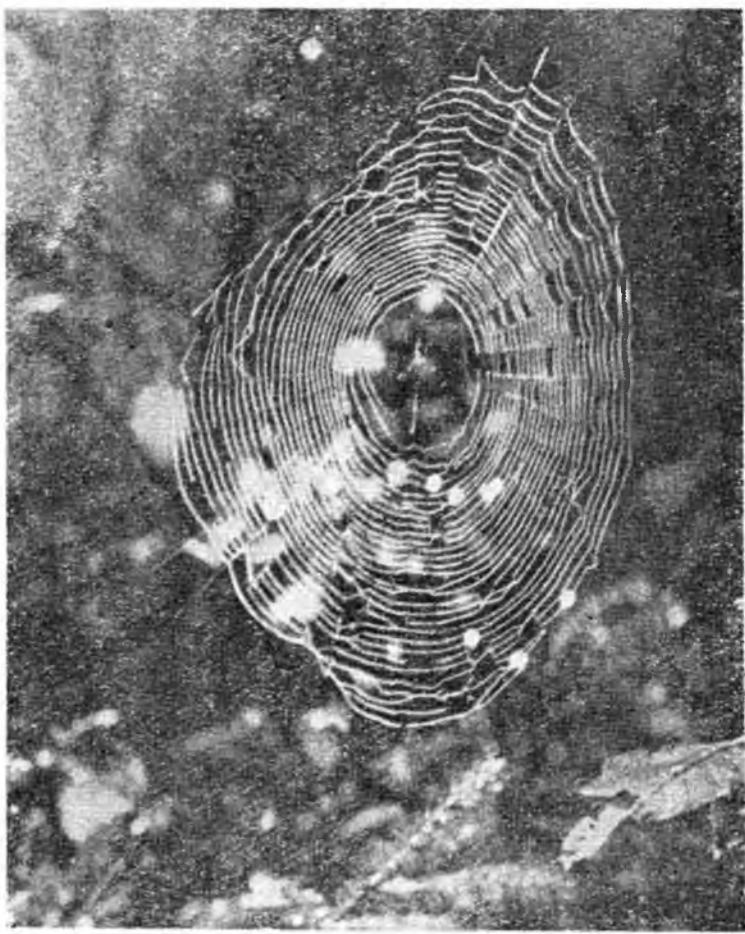
День меркинет нехотя: кострами занимаются березы и осины. Багров закатный луч, коснувшись вершин елей. В пыль разбитый хвойей, скользит он вверх по шершавым мутовкам. Подтекают трущобы синей прохладой, оглохшие от тишины. Одни стволы берез белеют, как приоткрытые двери в волшебную быль осени — в дни красных рябин, дни звона лаутины.

Спазаранок сверкает роса в паучьих тенетах, словно дар осени от лета на новоселье. «С утра — лето, с полудня — осень», — присловье о сентябре.

Бывало, Русь вступала в новый год, когда сено в стогах, рожай в скирдах, хлеб-новина румянной ковригой на стол просится:

Растворю я квашонку на донышке,
Я покрою квашонку черным соболем,
Опояшу я квашонку ясным золотом...

Первого сентября 1699 года Петр Великий в Кремле в последний раз по старине встречал новый 1700 год, чтобы затем отвергнуть трехвековой обычай и торжествами



Густо-густо нанизались капли росы на паучью сеть, сверкают, как бриллианты. Это — подарок осени на новоселье...

с пушечной пальбой отметить уже 1 января. Так что приход XVIII века в России праздновался дважды.

«Ревуном» нарекли славяне сентябрь-летопроводец за бури, за ветры лихие, когда лес ходуном ходит, рушатся наземь старые деревья. На Украине сентябрь — «вресень». От слова «вресень», что значит иней.

В сентябре картошку копают, лен со стилищ убирают. В разгаре вспашка паровых полей, тракторы зябь взметывают, готовя почву под будущий урожай.

В огородах капуста да лук ждут своей очереди. Ах, лук, лук — «овоц от семи недуг»! «Сидит тупка в семи юбках, кто ни взглянет, всяк плачет».

Хлопотливо сейчас садоводам: посматривают на небо, с барометром сверяются, не прозевать бы студеного утренника: мороз осенью садам очень опасен.

Притихли ульи на пасеке. Нет взятка, пчелам вынужденное безделье: «Летала птаха мимо страха — ах, мое дело на огне сгорело».

Пожар в лесах, пожар листопада!

Барсуки норы чистят. Бобры занялись ремонтом. Укрепляют перед осениним затяжным иенастым свои плотины. Хвост в чешуях, широченный и плоский, служит бобру лопатой: хвостом он утрамбовывает глину, ил на запрудах. Сидя на хвосте, бобр отдыхает, карауля покой лесного уро-чища, и работает, когда валит деревья.

Ночь. Луна. «Хрясь... хрясь!» — падают подгрызенные осинки.

В кустах росомаха. Зубы горят: жирен бобер, шуба драгоценная! И прыжком хищница из засады... Прыжком! Бобр не сплоховал: бац! Здоровенную хвостом отвесил оплеуху, на ногах росомаха не устояла.

Бобр — в воду. Безобидный он, ни когтей нет, ни клыков. Но это не значит, что обижать его можно безнаказанно. А росомаха — в кусты. Еще глупа, молодая, впервые самостоятельно охотится.

А вот осеннее диво: у зайчихи маленькие! Сироты бедные, покинула их мама. Хорошо, что посторонняя зайчиха приголубила крошечек-листопадников. Питательно густое заячье молоко: раз пососут малыши, трое суток сыты.

Так заведено среди зайцев: дитятки лопоухие общие. Свои, не свои — не считается. Если голодны, накорми.

По утрам и вечерам на заре слышны из глубин тайги протяжные звуки. Это лоси-рогачи справляют по лету поминки. Трубят лоси в сентябре на заре, что осень в лесу кружит рыжие метели, что низкие серые тучи несут холод и слякоть, что в глазах отлетающих птичьих стай уже светятся созвездия далеких-далеких южных земель...

Самое-самое-самое

Яркая пшеница для уборки созревает, в среднем для Вологды — 3 сентября. Год на год, однако, не приходится: в 1960 году к жатве пшеницы приступили 10 августа, а в 1955 году — только 25 сентября.

Самый сильный градобой случился в В. Устюге 1 сентября 1757 года: падали осколки льда величиной с гречий орех!

Самые последние стаи ласточек-касаток покидают Вологду, в среднем по многолетним наблюдениям, 6 сентября.

Первый снег... Не рано ли о нем? Не рано — в 1913 году снег-то было уже 10 сентября! Обычно первый снег выпадает в Вологде в октябре.

Окончание листопада осины, как правило, бывает в последних числах сентября. И все-таки в 1912 году осина осыпала листья к 9 сентября, в 1958 году простояла в пестром засыпистом убore до 13 октября.

Кто, где? Куда и откуда?



ВОЛК — переодевается в зимнюю шубу. Волчата по-прежнему привязчивы к району логова. В поле только в сопровождении материных.

ЛИСИЦА — в полях не проль использовать... комбайны! Грохочущий агрегат распугивает мышей — лисонька тут как тут! Хватает, че зевает.

ОНДАТРА — мех рыжеет, де-

лается пушистей. Зверьки ссыгаивают новые кормовые угодья. Где позволяют условия, от болота к болоту прокладываются скрытые траншеи-тунNELи.

ГЛУХАРЬ — некоторые мошники-бородачи нет-нет и вдруг запоют, защелкают: май в лесах, охваченных пожаром листопада!

ТЕТЕРЕВ — молодые петушки в черном пере, в хвосте косицы. Ес-

ли неурожай боянами, клюквы, эймерозки побили чернику, осипалась голубица то тетерева сбившиеся в стаи, переходят на питание бересклетом почкой. В стылые, с инем утrenники поют ко-сачи, как по лету справляют по-минки.

СЕРАЯ КУРОПАТКА — выводками утром и вечером на живые. Кормятся вместе ночуют вместе по опушкам и сзрагам.

ГУСЬ (серый и гуменник) — про-летными стаями на озерах Кубенском, Воже, Белом, на Рыбинском море, по глухим таежным водоемам. Отдаются и спят на суше — и голова под крылом!

КРЯКВА — селезни исподволь наряжаются в цветной наряд для будущей весны. Подавливают стаи с Севера.

ЧЕРНЕТЬ — воловой пролет с Севера. Скапливается этих уток на озере Кубенском черным-черно по племам!

ВАЛЬДШНЕП — на время обложных дождей перемещается из леса на открытые луговины, затянувшись под кустами, где не капает.

ТУРУХТАН — держит путь на рисовые плантации Индии и Бирмы.

ПОПОЛЗЕНЬ — присоединяет-ся к синичьим стаям. Свищет по-ямщицы, лазая по стволам

вниз головой, осень потоприва-ет: нука, круче заворачивай!

КОРОЛЕК — стайками, которые мало-помалу продвигаются на юг, достигает к зиме Крыма и Кавказа. На место откочевавших птичек подлетают корольки из архангельских ельников и сосняков.

СЛАВКА - СМОРОДИНОВКА — Смородиновка? И прекрасно, и держись на смородине, но насе-комые поредели, да послала бузина эти славочки клюют ягоды. К середине сентября смороди-ноэка исчезает: ее ждут африкан-ские саванны, где баобабы, жи-рафы и стада газелей.

СВИРИСТЕЛЬ — передовые стаи из гуси хвойников перекочевали в городские сады и парки, в де-ревни на рябины.

ЩУКА — чем холодней вода, тем щука жаднее: жирком запа-сается впрок!

СУДАК — вдвое, против августа, прожорлив, особенно к концу сентября.

ЛИНЬ — при понижении темпе-ратуры до +10° залезает в при-донный и на глубину.

БАБОЧКИ — кувшинница, кра-пивница, траурница порхают кое-где на поздних цветах в тиши застойных полян. Эти бабочки перезимовывают и крылатыми, и в виде гусениц.

ЖАБА — к октябрю зарывается глубоко под землю.

РЫЖИКИ

Знал я одно местечко, хранил и берег. Было за что: попади туда — корзину сполна наберешь. Одних белых грибов. Одних рыжиков. Подняться на бугор в сосновку — пойдут белые. Спуститься вниз к сырой моховине — изволь, рыжикиrossыпью. Говорят: «Делу — время, потехе — час». Тут же нередко бывало наоборот. Грибы собираю час, осталное время провожу как хочу. Стали мне знакомыми земляничные поляны, приметные муравьища и даже ста-рушка-жаба. В пещерке между корнями она пряталась. По-



Багряный лист
осины слетел к
ножке гриба...

чему меня не любят? — вопрошали ее печальные глаза. Ну да, безобразна, зато полезна! Бурая, вся в бородавках жаба неуклюже вылезала из-под корневищ, когда я подходил к елке, и глаза у нее были печальные и мудрые, а на спине хвойные иголки.

Славное было грибное угодье.

А явился раз... Где мои белые? С корнем выдраны. Где рыхики? Сапогами мохсвина истоптаны, окурки наброшаны...

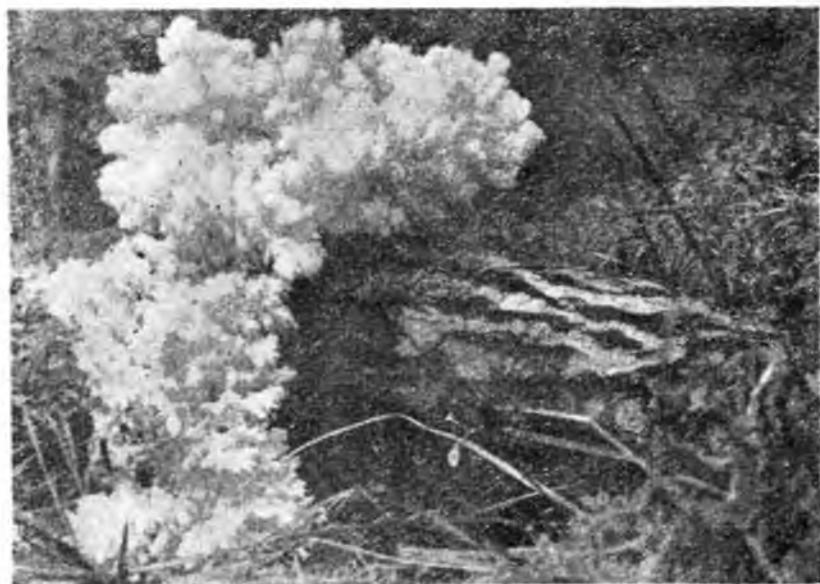
Очень не везло в тот день. Сколько лесу обошел — в корзине перекатывались по дну три подосиновика, и больше ничего. Без счастья и по грибы не ходят. Попадал я то в болото на гари, то в глухой ельник или поросший травой по пояс березняк, где заведомо и поганки не растут. Наконец на вырубке застрял: ни назад, ни вперед. Коряги, валежины. Кустарник частый, как гребень. Не до грибов,

лишь бы выбраться! Положим, повернуть назад я мог. Набрать сырое жек, опять труда не составило бы вэзле шоссе. Но что лучше: сырое жек или белые грибы и рыжики? Тото и оно. Ведь что за прелесть были белые-то в моем местечке! Помню, утро было прохладное, руки зябли. Нашел я боровиков на пригреве: все круглоголовые, лобики у них умные, крутые. Загорелые этакие крепыши на толстых ножках. Солнцем их хватило, были они теплые, брал и ладони о шляпки грел!

И как-то жаба там? К спинке хвойные иглы налипли? Не обидел ли ее кто? Старая она, старая, одышкой страдает...

Отчаянно я продирался сквозь кусты, подогревая свою решимость воспоминаниями о былых удачах, и не предвиделось конца краю вырубке, заколоженной, закоряженной...

Что и было бы со мной, да лоси помогли!



А это что такое! Похоже на белоснежные, мастерской работы кружева. Нет, не кружева! Просто гриб... И вид необычен, и название—«большая курица»! Если учсть, что гриб увесист, тянет до 3—4 килограммов, то даже не «курица», а целый индюк.

Как так?

А вот как. Набрел я в кустах на вырубке на лосиную тропу и пошел, пошел по ней. Известно, лоси зря ноги мять не станут, их дороги самые прямые и удобные. Только, что лосям удобно с их ногами-ходулями, не всегда нам годится. Кочки, валежины. Крапива... Пришлось помучиться, пока тропа лосей вывела в лес.

Точь-в-точь такой же был высокоствольный этот лес, как и заветное мое грибное местечко: повыше поднимешься — белые грибы; вниз, к ручью спустишься — рыжики рассыпью.

Скоро корзина стала располнехонька. Выбрал валежину, чтобы отдохнуть. Ну-ка, кто здесь будут мои знакомые! Синички — озорные белощекие непоседы. На кустах попищали, повеселились — и порх, улетели. Бабочка, желтый махаон, опустилась из лиловый цветок лесной герани, свела крыльшки шалашиком, тоже, знаете, в знакомые не желеет... Пожалуйста, как вам угодно. Знаете, в друзья не наблюдаюсь!

Вдруг мимо, шагах в полуторах, по просеке важно и медленно прошли лоси. Лосиха с двумя лосятами. Она бурая, в белых таких чулках, ее телята рыжие. Посмотрел я на них, как за мамой шествуют: ну и рыжики!

Это по их тропе я вышел к лесу. И то сказать: лоси не меньше нашего любят грибы. Они грибознаи, каких поискать — из болот к рыжичным местам выходят за многие километры. Однако отнюдь не значит, что, идя их тропой, всегда к грибам летом выйдешь. Если и выйдешь, то уж убродишься: великаны-грибознаи — ходоки, им и десять верст не окопица! Просто повезло мне: без счастья, как говорится, и по грибы не ходить.

КОРАБЛИКИ-НЕВИДИМКИ

На заре туманило. Обильная роса стучала по плотной тропе, по корневищам деревьев, и под стук ее в малиннике осыпалась ягода, набухшая забродившим соком и мокрая.

По мере того, как растворялся туман и стеклянно яснел, насыщаясь настоем мхов и грибной прелью, обогретый воздух, лес из одноцветно-мутного делался пестрым и ярким.

Тени, из которых наносило туманом и росой, были не-

движимы. Они словно прислушивались к чему-то. К перезону синиц, стайками слоняющихся по вырубке? Или к тому, как выпирают под соснами маслята в непросохшей лаковой кожице и румяные улыбчивые волнушки оправляют пышную кружевную бахрому?

Я вышел к озеру. На его сухом берегу было жарко, летали стрекозы. Муравейник под одиночной елкой так и кипел. Взад-вперед сновали рыжие работнички по дорожкам, волокли всякий хлам, чтобы закупорить входы в жилье перед осенним ненастем. А на косом угore лиловели луговые васильки и забывалось под слюянной шелест стрекоз и сияющем мерцании озера, что лето ушло, что лес полыхает пожаром.

По озеру плыли невидимые кораблики. Видны были одни паруса, столь же диковинные, как и кораблики-невидимки. Паруса прозрачно-радужные и тонкие-тонкие.

Это паучки пустились в путешествие. На собственных распущеных паутинах. Безветрие, так легок воздух, что не удержал он крохотных паучков. Они плыли. Плыли на парусах-паутинках, едва касаясь воды и не оставляя следа за собою.

Один паучок взмыл в воздух на моих глазах. Он выпустил паутину длинной петлей и, точно в аркан, поймал в нее слабую струю воздушного течения. Петля напряглась, задрожала, как парус, вобравший в себя ветер. Паук подобрал лапки, понесся с былинки через озеро.

Берег в васильках и ромашках, елка с муравейником, чуг и стога сена -- родное для паучков. Они вывелись где-то здесь. Между тем, поманил их другой берег -- чужая сторона. Там те же травы, стога, лес тот же -- горит осинами, светлеет березами, -- но зов в странствия для маленьких скитальцев сильнее всякой привязанности, страха перед неизвестным на неизведанных путях.

Летит... летит паутина!

КРАСНЫЕ СЕРЕЖКИ

Дождики заперпадали моросящие, грибные. И вот ни с того, ни с сего их сменили холода. По одно утро проснулась деревня, а трава белая, иней выпал. Из печных труб запахло по-зимнему...

На пожни косо понесло из лесу алые и перистые рябино-
вые, лимонные, в черных крапинах, в ржавых пятнах —
осиновые, гремучие зеленые листья ольшии. Шорохи. Шо-
рохи... Шорохи, как шаги, словно бродил по опушкам кто-
то неприкаянно. Это осень пришла, осматривала владения
и заводила порядки. Суровые порядки, строгие. Лес и рад
был откупиться от нее, золото к ногам ее бросал охапками,
да осени все мало и мало, и с печальным кличем отпра-
вились с родимой сторонки караваны журавлей...

В полдень я промстился на колодину. Термос достал,
попиваю горячий чаек. А метель листопада не унимается,
шорохи в лесу, шорохи... Пестро на земле. И с листом жел-
тым или алым рядом с кочки то проблеснит гроздь спелой
брусники, то попадут на глаза янтарно-оранжевые ягоды
ландыша, то каплей непросохшей черной туши блеснет вор-
оний глаз. Особенно много майника. У майника листья
сердечком, тонкий стебелек, красные ягоды. Что за ягоды!
Рубин, чистый рубин! Под елками, в сумраке хвойном, и
то светятся, как драгоценный камень!

Сквозь шум листопада слух различил новые звуки. Я
понял: рябчик по земле бегает. Скоро увидел его, как он
пригибается, прячась за кочками. Лапками поцарапает,
поклюет из копанки, дальше бежит. Ягодка попадется смор-
щенной черники — тоже склонет... Что ж, я, охотник, чай-
ком занялся, рябчик, лишь моя, обедом — сба при деле!

Любопытно, что рябчик близехонько и меня не замечает.
Серенький он, с красными дужками бровей, с черным
галстучком на шее. На темечке кисточка из пестрых перы-
шек — хохолок.

Ландыш рябчик не трогал, а едва напался на поросль
майника, даже привстал, хохолок встопорщи. Засвистел:
«Пить-пить... пить-питирить!» Рябчиху зовет. Конечно, ру-
биновый майник ей, серой подружке, очень бы пригодился
на сережки. Чудо что за сережки получатся! Фр-рр! Это
рябчиха прилетела, опустилась наземь. Заходила, заважни-
чала. Есть от чего: сережек-то — любые выбирай, приме-
ряй!

Только примерять сережки рябчиха и не думала.

Она стала клевать красные сережки. Клевать да есть...

И рябчик клевал, от нее не отставая.

Затем, сытые, рябчик с рябчихой фр-рр! — поднялись
на крыло, улетели.

Жалко. Жалко, что не примерили красных рубиновых сережек...

А красные сережки, знаете, им ни к чему. Сейчас, когда осень, у них не сережки, у них меленки на уме. Какие меленки? Обыкновенные. С осени рябчики переходят на зимнюю, грубую пищу: на почки и семена. Поэтому нарочно заглатывают дресву, камешки мелкие, песок. В зобу они, как жернова, перемалывают, перетирают грубую пищу. А у майника в рубиновых ягодах очень твердые косточки. Клюет рябчик осенью ягодки, кормится, а твердые ядрышки майника на зиму копит. Двойная рябчику польза!

Сережки... На что к зиме сережки? Рябчишкам не добавоты-красоты, если трава по утрам в ииее и того и гляди, что белые мухи полетят!

КАТОМ И ПОДКАТОМ

Сошлись у костра. Ружья, рюкзаки, корзины, удочки. Ждали поезда, осенью который пускают из города для грибников. Возник разговор: есть ли в лесу неграмотные?

Мышонок и тот по части уловок в профессоры метит. Чего уж распространяться о медведях, волках, прочих крупных и малых хищниках. Дай промашку — вокруг лапы сбьедут. Бывает, промысловика, который на охоте ноги стоптал, даже зайчишка в тупик ставит. Их, зверь-то, голой рукой не возьмешь, сами на мушку не сядут. Ты умен, а они против твоего ума — свой ум, ты опытен, да они что, простаки? Мышонок... вон мышонок, кому нужен, а тоже хитрит. Носик из норы покажет: ну лапочкой листья ворошить, ну пищать. Коль случилась у норы сова, тут она — цоп! — а загребла когтями пустое место. Мышонок ведь хитрил, к проверочке прибег: ворошился, пищал — нет ли близко врага? Сдуру сова когтями — хвать, мышонку того и надо, в нору нырь, затаился. Ждать-пождать сова. Терпенье лопнуло, улетела. Улетела — он спать нос высунул: попискивает, листьями пальми шебуршит. Никто не клюнул на приманку, шмыг мышонок из норы, побежал по своим делам без опасенья.

Мышонок, а?

Ну кто он? Путевого щелчка на него жалко!

А птицы? Гнезда строят с маскировкой. Хищников от птенцов отводя, такие номера откалывают — просто актри-

сы. Или возьми тетеревье. Стаяй на березах осенью кормятся всегда со сторожами. «Ко-ко!» — и разом зашумели крылья. Чеши охотник в затылке, проклинай, что невзначай сучок под ногой треснул. О журавлях, гусях спору нет. Полет строем, дисциплина, безусловное подчинение вожаку и, опять же, караул при остановках на кормежку. У гусей дополнительно разведка: не сидет стая куда попало, сначала гуси-разведчики обследуют местность с высоты. Умнейшая птица — гусь!

Тут один охотник встал, выкатил уголек из костра, прикурил и бровью этак вскинул:

— Гм... Молчите громче! Глуп ваш гусь, и лапки красивые!

Шум, естественно. Кто-то историю вспомнил: гуси, мол, Рим спасли.

Он покуривает. Будто шум его не касается.

— А ты гусей бывал? — приступили к нему.

Бывал, говорит. Доводилось, говорит.

Оно и видно, человек бывалый. Серьезное производило впечатление. У кого ягдташ на десять застежек, да сморщеный, точно проколотый мяч, стыдливо еловые лапки торчат, хвоей набит. У него — солдатский вещмешок, «сидором» на войне звали. В заплатах мешок, зато с глухаринным хвостом наружу. Кто от шляпы до пят увешан снаряжением: ножи, бинокли, фотоаппараты, скрипит ременная сбруя. Треск и блеск! У него — кепка козырьком назад, пиджак подпоясан патронташем, вместо часов на руке компас. Ничего бросающегося в глаза.

Но нет, все же ты докажи: почему гусь дурак?

Молчит. Папирской попыхивает.

Факты выложь! Факты где? ^

— Я такое вам выложу, — отвечает, — вы меня во врали запишете. Я охотник, вы охотники. На одну мы колодку...

Что правда, то правда, охотники — народ со странностями. Почему-то друг другу не доверяем.

Кое-как уломали его все-таки, разговорился.

Действительно, история с ним приключилась, послушать — вранье чистой пробы.

Дело было осенью. Продрог наш охотник, сидя с ночи в окопчике на отмели и подкарауливая гусей.

Ветер окреп. Моросил холодный дождь.

Гуси налетели перед восходом. Стая голов на пятьдесят-шестьдесят.

Залив в заветрии. Волны подхлюпывали снизу в листья кувшинок и гасли, не достигая берега. Чистились гуси, с силой ударяя по воде крыльями, окатывались брызгами и гоготали. Ладные, сытые. К берегу — ни на шаг ближе. Плавают. У охотника расчет весь строился на том, что дноют они на суше. Пух, гусиный помет на берегу, лоточки, прощавленные в осоке отдыхавшими птицами. Испытывал наш стрелок тягчайшую из охотничьих мук — муку ожидания, когда желанная добыча на виду, да взять ее — руки коротки.

Внезапно гуси, возбужденно гогота, вытянули шеи. Сбились кучей, сносило их ветром на озерный простор.

Окопчик устроен правильный, солдатский, с бруствером и бойницами для кругового обстрела. Прикрыт осокой, мхом. В таком на фронте вражеский снайпер и то был не страшен. А гуси?.. Сквозь землю видят!

Скосил наш охотник глаза направо, налево. Эге, молчи громче! Метрах в ста от окопа — лисица. Пасть оскалена, с языка, сдается, слюнка каплет. Жирна, сочна гусятина. Да видит око, а зуб неймет!

Прошлась шажком вдоль песчаной отмели. Повалилась на траве. Следят гуси — шеи навытяжку.

Заспотыкалась лисица. Больная, да? Явно, не в себе. Просто чуть жива.

Пошатывается. Шажки нетвердые, пьяные. Качает беднягу, с ног валит.

Закрутилась, как собака, перед тем, как лечь...

И гусей заинтересовало: что с лисой — извечным врагом? Го-го-о... Ко-гонг! Ко-гонг! Подгребают против ветра, верят шеями.

Легла лисица, хвостом подергивает, язык прикушен.

Каюк рыжей! Отравы, поди, хватила. Обрабатывают посевы в колхозах химикатами, борясь с сорняками. Та беда, что нарушают инструкции. Мрут птицы. Съев падаль, мрут звери.

Поднялась лиса. Из стороны в сторону ее возит. Прокулила. Сунулась мордой в траву. Откинула лапы. Перекатилась раз-другой. Затихла у самой воды.

Ветер ей шерсть задувает. Дождь ее мочит.

Глаза бы не смотрели! Яды ведь! С ними ли не быть су-
губо осторожными? А нарушают. Губят зазря живое от
шмеля-медуницы до лосей...

Забыл наш стрелок об охоте. Лису жалко: пропала ни
за грош.

— Ка-га, ка-га, — суматошно голосили гуси, понемногу
подплывая к берегу. — Ка-га!

Они словно спорили между собой.

— Го-гок... Подожла! Так и надо, полно ей яйца из
гнезд воровать, малых гусят душить. Го-гок!

— Га-а? Га-а? Притворяется... Га-а?

Начеку, бдительны гуси — как же, Рим спасли. Но лю-
бопытны. Круглые дураки, до того они без меры любо-
пытны.

— Ка-га-а, — горланят. — Га-а!

— Ко-гонг... ко-гонг!

На песчаной косе мелко грузным птицам. Пора выхо-
дить из воды. А боятся и мертвой лисы.

Один гусек, наверно из молодых, перед гусечкой козы-
ряя, выбрел на берег отважно. Грудь выставил колесом.

— Ка-га-а! — дерет горло. — Ка-га! Я ее... За хвост
ущипну! Пух, шерсть по ветру пущу! Ка-га, ка-га!

А лиса... молчи громче! Стальной пружиной разверну-
лась, вскинула гибкое тело в прыжке.. Гусиные вопли, ли-
кий визг, хлопанье крыльев! «Га-а... га-а!» — орал гусек,
бил крыльями.

Он не промах, гусек, — увернулся от хищной хватки.

Стоит лиса в воде, брешет вдогон улетающей стае.

Стоит притворщица рассырешиенька. Глаза зеленые, как
уголья горят. А хвост — фу-у! Вымок, слиплись шелковые
шерстинки. Для лисы хвост — знамя. Пушится волосок к
волоску, когда лисица торжествует хит्रую свою удачу.
Безвольно волочится, как теперь, при жестоких пораже-
ниях.

Прыжками, прыжками она прочь — осрамилась, окон-
фузилась!..

Тут гражданин, у которого из кожаного ягдташа преда-
тельски высосывалась еловая лапка, ухмыльнулся:

— Силен байки заливать! Хе-хе... молчи громче!

Пошел от костра, скрипя ремнями, высверкивая всяки-
ми висюльками: нож на поясе украшен медвежьими клы-
ками в серебряной оправе, шляпа с пером.

Дернул плечом наш рассказчик:
— Я ж предупреждал...

* * *

Евстигнеич от души посмеялся.

— Катом она, — говоришь, — к гусям? Затейница! Умеет... да-а. Ее не учить, сама ученая. Грамотейка... да-а!

Старый промысловик не усомнился в подлинности, как лиса хворой прикидывалась, шаталась, валялась и необычным своим поведением выманила гусей к берегу.

В подтверждение Евстигнеич напомнил о забытом ныне способе охоты на гусей во время весеннего и осеннего перелетов. Раньше гусей водилось гораздо больше. Озими вытаптывали. В хлебных полях зерно молотили, — очень они прожорливы. На месте гусиной дневки охотник приготовлял окоп или строил низкий шалаш. Заранее, разумеется, потому что гуси впрямь необычайно пугливы. К любой перемене обстановки относятся подозрительно. Места дневок — берега глухих озер, бугры у рек с широким обзором во все стороны — у них из года в год одни и те же. С ночи являлся охотник в засидку. Брал с собой собаку. Отнюдь не охотничью — просто дворняжку, предпочтительной рыжей масти. С рассветом гуси подваливали стая за стайкой. Стоит одной опуститься, как к ней присоединяется другая: все спокойно, опасности нет, если сидят соплеменники. Охотник, соблюдая осторожность, высаживал собачонку, кидал ей хлебные мякиши. Собачонка юлила у окопа, подбирая подачку. Важно, чтоб она не обращала внимания на гусей. А они — жертвы собственного любопытства — пешком и вплавь приближались к охотнику на верный выстрел.

То есть повторялось то же, что и с лисой-притворщицей!

Набил Евстигнеич трубочку.

— Это что — лисий накат! У меня у самого был подкат — разлюли малина! По первопутку выпросил это у бригадира лошадь. По трудодням получить сено. Навил воз, еду обратно. Солнышко, снег блестит. Добро. Дородно. Еду, а в поле на виду у деревни мышкует лиса. До-о-бражая огневка: шубейка у ней выкунилась, чистый шелк. Да-а... Ружьишко-то при себе. Пес, пущай его домовничает со старухой, а с ружьишком не попускаюсь. Привычка... да. Ты говоришь: гуси любопытны? Лисица им не уступит. Встре-

тится ей скирда, стог сена — неспопутно, но привернет. На-
верх заберется, вокруг посмотрит. Клочок газеты по полю
несло, за куст зацепило — обнюхает. Что, почему и отку-
да — все бы ей знать. Вот она какая, кумушка-забавница!
На возу я и смекаю: не попытаться ли?.. Снег не уброд-
ный, Карюху я вожжами: но! но, милая! и сверчул с доро-
ги. Наискось по полю правлю. Лиса бросила мышь ло-
вить. Драла даст... ей-ей, убежит! Кубарем я с воза. Да на-
катом... верь-не верь! — накатом к лисе. Стоит. Умна, куда
как ловкая, а любопытна... Ох-хо-хо! Стоит, смотрит! Катила-
ся я, катился, поди, шагов двадцать или того поболе.

Старик рассмеялся:

— На деревне дивились: ладно ли со стариком? По по-
лю, ну-ка, катается!

— Добыл ее? — спросил я.

— А то нет? — пыхнул Евстигнеич трубочкой. — Дале-
ковато было, правда. Ружинчико, однако, вынесло. Вот так-
то... Она, значит, катом, да ::ы к ней подкатом!



ОКТЯБРЬ — ЛИСТОВОЙ



Слых этот месяц в давние годы «грязником», «листобоям» да «назимником». По примете, в октябре «зима со бела гнезда сымается, в гости собирается, говорит: дай-ка я на Руси логощу, деревни-села навешу, пирогов поем». «В октябре Трифон шубу чинит, Нелагая рукавички шьет».

За осеняло. Пусты поля, огороды: капуста и та убрана.

В садах страда. Новые посадки закладываются. Малину на зиму подвязывают, укрывают землянику торфом да опилками. Тлеют, чадят подожженные кучи собранного с гряз хлама.

Снег выпал под вечер. На то и октябрь: когда чем землю кроет — когда листком, когда снежком!

Ветер-сивер в лесу, черные мокрые ели, сивые лохмы лишайников. Течет и каплет с сучьев, с кустов, булькает в лужи... А поднялось солнце — снег сплынуло, будто век его не было!

Выпадают в октябре ясные ложжие деньки. Только в разгар осени бывает такое голубое небо, такие рассветы, когда с полыханьем зари спорят багряные осиновые перелески. Березовые рощи раньше восхода светятся, зато в ельниках заполдень таинственно сумрачно, пахнет мхом, папоротниками и хвоющими.

Октябрь — к зимовке сборы.

Куница, шмыгая по валежнику, обнаружила брошенное гнездо глухарки. Яйца протухшие, наполовину высохли. Все равно в дупло унесла: авось пригодятся. Горностай, тот устроил склад под камнем, Лазейка узенькая, одному горностайке и проточиться — сторожа не нанимай, никто не попадет! Хорек случайно наткнулся на лежбище лягушек. Всех покусал: и живы, и лапкой квакуньям не дрыгнуть... Вот и запасец, который кармана-то не дерет!

Торопливей, чем листки календаря, обрываются листья с берез. Шуршат, валятся, нанизываясь на синичий свист.

Глушь. Пустота. Бурые тучи наплывают, новым снегом грозят...

В морозное утро вдруг услышишь, как треснет от холода набрякший сыростью сучок. Второй, третий... Еще и еще!



Холодно...
Распушил свои
перья нарядный
свиристель.

Это уже зима нетерпеливо стучится. Стучится, с осенью спорит:

Осень говорит: озолочу!
А зима — как я захочу!
Осень говорит: поля в сарафан наряжу.
А зима — под холстину уложу,
Весна придет — покажет!

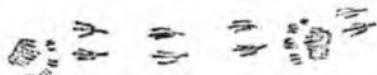
Самое-самое-самое

Липы в Вологде осыпают листья обычно к 2 октября. Тем не менеё в 1900 году золотыми они стояли исключительно долго — до 29 октября. Напротив, в 1921 году листопад лип завершился рано — 6 сентября. В октябре насквозь прозрачны березняки, тогда же впервые за осень лужи стеклит первый ледок. Но случается, березы в листве до 23 октября (1955 год), лужи не замерзают до 2 ноября (в том же 1955 году).

Установление снежного покрова... Ах, опять о снеге, о морозе! Но что делать, снег в октябре обычен. Так в 1946 году снежный покров в Нюксенице окончательно установился 13 октября, в Вожеге того раньше — 12 октября.

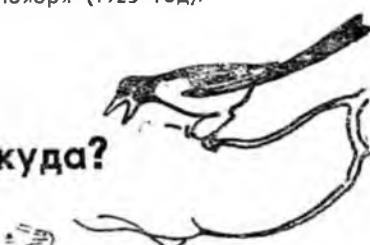
Забереги на озере Кубенском появляются самое раннее — 3 октября (1939 год), самое позднее — 29 ноября (1923 год).

Кто, где? Куда и откуда?



ГОРНОСТАЙ — не дожидаясь снега, побелел, один хвостик черной кисточкой.

БАРСУК — «выцвели» шубы;



отross более светлый, теплый и густой подшерсток. Барсуки летнего выводка роют отдельные норы — расширяются подземные городки!

БОБР — занят рубкой и сплавом леса вплоть до ледостава. Валит и очень толстые, в полметра диаметром осины, и мелкие, а особенно ивняк. Ствол разделяет на чурбаки и гонит по каналам к запрудам. Рядом с жильем создаются подводные склады. Наступившее похолодание заставляет утеплять жилые норы и хатки, укреплять плотины. Разгар строительных работ и кормозаготовок падает на последнюю декаду октября — начало ноября.

ЛЕТУЧИЕ МЫШИ — в большинстве своем отлетели на зимовку. Очень редко над водой в сумерки можно наблюдать лишь кожанков.

МЫШОВКА — родственница тушканчика из знойных пустынь. Тот прыгун, а она акробатка: лазает по кустам, помогая себе длиннющим хвостиком. Чуть повеяло холодом — и пропали хвостатые. Залегли лесные акробатки спать под трухлявые пни в гнезда, утепленные травяной ветошью, древесной трухой.

РЯБЧИК — на пальцах ног, как и у других лесных кур, появилась роговая бахрома: жесткие зубчики нужны, чтобы птицам удобнее было держаться зимой на скользких обледенелых ветках.

БЕЛАЯ КУРОПАТКА — будто на лыжах ходит, так густо лапки обросли жестким пером и удлинились, сплющились ногти.

СКВОРЕЦ — сбираща перед стартом на отлет, порой в одних и тех же местах. Так, за Вологдой в луговых кустарниках у мясокомбината наблюдались стаи скворцов в 100—120 тысяч птиц.

СНЕЖНАЯ ПУНОЧКА — с ост-

ровов Северного Ледовитого океана, из тундр добралась до Вологодчины. Соединяется со стайками овсянок, летая по проселкам, в зарослях бурьяна.

УШАСТАЯ СОВА — простилась на зиму с глушию лесной, ночами летает близ деревень. Караваляет мышей со столбов электроподибов.

СОРОКА — прибивается трещетка-белобока к жилью, где дымом пахнет. На изгороди сидит, хвостом трясет — зима скоро... скоро!

СЕМГА — в Онежском озере когда холода в сон клонят, а у семги-лосося весна. Рыбины принаряжены. У самцов бока темнoscиние в красных пятнах: чем старше, тем пятна ярче. Плынут стаями в реки, на извечные нерестилища.

ПАЛИЯ — считается самой вкусной рыбой в мире — и по праву! В Онежском озере как и повсеместно, где обитает, палия нерестится осенью раз в несколько лет. Икра крупная, как красная смородина, количество ее невелико.

НЕЛЬМА — в Кубенском озере нерест проходит при температуре +3—8°, непременно на глубинах на самом дне поблизости устьев рек и реках в Кубене и Ельме. «Постоянную прописку» в Кубенском озере получила в 1834 году, когда была построена плотина на Сухоне для регулирования стока.

РЯПУШКА — мечет икру в озерах Белом, Онежском и других в Рыбинском море накануне ледостава. Вообще прохладу любит, и летом ряпушка гуляла у самого дна.

САПОЖНОЕ ШИЛЬЦЕ

Падали листья, срываясь с сучьев, когда задувал ветер сильнее. А вот не с сучка, вот прямо со ствола березы оборвался пестрый серый листок и упал наискось к подножью другой березы. Нет, не наземь упал он — приклеился к стволу дерева.

И побежал прямо по стволу вверх с писком:

— Ци... ци... ци!

Конечно, какой же это листок, если пищит и, словно дятел, по деревьям бегает!

Это — пищуха. Птичка кругленькая. Словно яйцо. Что и выдается, так зубчатый хвост да клюв — кривой, шильцем, каким сапожники работают на починке обуви.

Понятно, пищуха не салоги тачает, она кривым острым клювиком довольно-таки бойко обшаривает деревья, выискивает в трещинах коры захоронки вредной лесной нечисти.

Мастерица отводить глаза — пищуха! Непоседа, она так и шныряет по стволу, так и пишет, пишет лапками, а опение ее настолько сливается с корой, что потеряешь птичку из глаз в два счета. Потому видел ее в лесу не всяк, кто в нем и часто бывает. Кроха-древолаз, пищуха даже на отых не улетает с дерева: прицепившись коготками к коре, сидит солдатиком. Головка вверх, вся опора на хвостик. Всегда готова пищуха к действию — искать, накалывать на свой клюв жуков, бабочек, иных прочих вредителей, губящих деревья.

Она и есть солдатик, незаменимый притом в крылатой армии защитников леса!

КАЛИНКА

Медведь на болоте пенье воротит.

Дятел на сосне, на суку жука молотит.

Паук с травки на травку основу снует, пряжу алмазную ткет.

Белка на солнышке калину-ягоду сушит. Сушит, сушит, хвостом машет, муж гоняет:

— Кыш, брысь, окаянные! Запас, да не про вас!

Это присказка, а сказка впереди. Сказка, не сказка —

все бывальщина. Лесная, диковинная — думай, не думай, нарочно не придумаешь...

Темный овраг. Мрачно, глухо в парной его дремучести. По пояс папоротники. Валежины, колодины гниют, вороха листьев мокнут в лужах у корневищ елей, и терпкое дыхание мхов, травы-валерианы пьянит, кружит голову. Как шагнешь, так и лягушку вслугнешь. Скопились в овраге квакушки. Подоспело время в мох зарываться.

Выпрыгнет лягушка из травы — темечко на солнце отсветит короной.

Что ни лягушка, то царевна...

Вдруг налетела в овраг на багряные рябины стая дроздов — тишина вдребезги!

Шум, толчья, всплески крыльев. Как дробь, застучали по пальм листьям ягоды: много рябины дрозды клюют, того больше наземь крошат.

Кричат дрозды, трещат:

— Ра-ра... тах-тах-так!

— Тах-так!

— Тах!

Одну рябину обклевали, другую...

— Ра-ра... тах-тах-так!

А с прогалины, с кудрявой рябины как брызнут в испуге! Кто их там пугнул?

— Цок! Цок! — защелкало с поляны.

У белки хвост на пробор расчесан. Машет белка хвостом, свистит, ворчит, у пенька скок-поскок.

На пеньке, на моховой подушке, кучкой разложены красные ягоды.

Сушит белка калину. Сушит, сушит — хвостом машет, дроздов гоняет:

— Кыш, брысь, ненасытные! Ай вам на рябине ягод мало?

Подошел я к пеньку: белка от меня скок-поскок — да на еловую лапу, да выше и выше винтом по дереву. Сверху смотрит, хвостом дергает.

Отщипнул я ягодку. Ай да калина-малина — кисла и сладка, язык кусает, слезы из глаз! Взял и выплюнул.

Медведь на болоте пенье воротит. Паук с травки на травку основу снует. Белка калинку сушит... Сказка в руку!

МЕДОК В СПОЖКАХ

Инега пошли: по утрам травы, живые в серебряных узах. Редея, засквозили бережники. Валится, валится лист... Ну, а в полдень — солнце, теплынь. Зеленеет отава. Проглядывают золоченые, в черных ресничках глазки голубых незабудок. И пахнет прелью грибной, и облака белые курчавятся, и дали синеют с потаенной лаской...

У входа в лес — кусты чертополоха. Ощетнились колючками, не подступишься. Похожи эти цветы на кисточки для бритья.

А шмелей, шмелей-то собралось!

Мне сразу вспомнилось Кубенское озеро, закованное льдом, пора жесткого бесклевья, когда, тоскуя, рыбаки блесенки, нажигку меняют, пробивают и пробивают новые лунки, а едва у кого-то клюнет хоть ершишка — голова да хвост, осталльное колючки, — как сбегаются к счастливцу рыбаки. Пробивают вокруг него лунки. Только пешни сверкают! И несется клич по озеру:

— Вот одни обрыбился!

Наверное, и у шмелей так. Слетелись на чертополох, едва один шмелик «обмедился».

Осень — такое время! сгнивают травы, и для работаги шмелей медок ныиче в спожках ходит.

РОМАШКА

Она клачялась мне — одиночная ромашка на лугу, выжженном заморозком. И ромашке было нужно чье-то внимание и участие. Шел октябрь, и изко стались, наслаиваясь, хмурые гучи, рощи стояли немые — растеряв листву, утратили и свой бойкий зеленый язык. А вчера над деревней прошмыл караван запоздавших лебедей.

Ромашка в сером, жухлом просторе луга сияла незакатным солнышком. Желтым солнышком с белыми лучами-лепестками. И оно согревало меня. Мои мысли уносились в лето — в жаркие дни сепокоса с росой по утрам и криками коростелей из утреннего тумана.

Опрытная скромница на тонком стебельке... Идя проселком, я всегда искал ромашку глазами. Тут ли ты?

Когда поднимался ветер, ромашка напрягалась, сопротивлялась его порывам. Стихал ветер, и она устало поника-

ла кудрявой головкой. Но белые лучинки светлели по-прежнему задорно. Белые бризги на сером лугу!

И вот выпал снег.

И стало все вокруг белым бело.

И погасла ромашка. За нее теперь бело сияли снега...

ЧЕРНАЯ РАДА

Задувший под вечер сивер садил дождем со снегом. Темень, слякоть. Погодка — добрый хозяин собаку на улицу не выгонит! Бредешь, спотыкаешься, а в лицо снегом лепит, тужурку хоть выжми, на сапогах волочишь по пуду грязи...

Отрадно с сырости, с промозглого холода попасть под крышу!

Хуторок в полях. Одна изба, и у той окна слепые. Ну что ж, окна заколочены, зато двери открыты. Чем под стогом ночевать... Решительно протопал через сени. Э, кто-то уж есть здесь!

Выгороженная дощатыми заборками кухня. Печь топит ся. На столе чайник и свеча. В углу ружье прислонено.

— Обогревайся, — сказал мне человек, сушивший перед печью на ухвате свои перчатки.

— Много вас? — спросил я.

— С тобой двое, — усмехнулся он.

На подоконниках окурки, мусор. Пол устлан сеном. смятым в труху. Знать, не мы первые пристанище находим в брошенной избе.

Ветер налетал порывами, колебалось, ложась набок, пламя свечи, в трубе завывало, всхлипывало, свистело, и жутковато становилось при мысли, что кругом сырье леса, болота и болота, — есть ли им конец и край? — а до шоссе сутки ходу сквозь слякотное ненастье.

О том, как соседство под одной крышей, да после горячего чая, да в дурную погоду располагает к дружественной приятности и задушевности, я полагаю, распространяться лишине. Случайная встреча, но поделились, что там у нас припасено в рюкзаках, закусили, свеча оплыла и погасла, сумерничаем, и ощущение — будто век жили двери в двери. Мнение: чтобы человека узнать, надо с ним пуд соли съесть, — столь же распространено, сколь и ошибочно. Относительно охотников, по крайней мере. Соль солью, но кто

какой номер дроби предпочитает, имеет ли пристрастие к глухариной охоте или преславляется утками, где бывал, в каких местах... Ей-сй, это среди нашего брата существенное пуда соли! Уже одно обстоятельство, что мы очутились оба в этой глуши, рекомендовало нас друг другу.

— Места, ты говоришь? Н-да... — рассеянно протянул мой новый знакомый. — Это, конечно, дело — места знать. Есть они всякие. А наверняка всех любое они в родной сторонке. Страна детства и все такое. Но как раз там однажды случилось мне по страху ходить, где мертвый хватает живого.

— Это что, из побасенок на сюжет грядущий? — засмеялся я.

— Не-е... Я вполне серьезно. Хочешь, посвящу, как по страху то ходят?

Из вежливости я отмолчался. Валяй, ночь долгая, успеется послать. С выводами тоже успеется, что ты там наговоришь.

И си начал. О том, «как по страху ходят, где мертвый хватает живого».

* * *

Понадать к нам... не приведи бог! С поезда на попутный грузовик, коль изладится оказия. С грузовика на почтовую лошаденку. Засим легкая, километров на пятнадцать с гаком, размника пешком...

И будет телега. Телега-навозница, затравшая в небо оглобли. Петухи по деревне горланят. Сорока на крыше амбара вертится, щекчет-стрекочет, вести ворожит.

И ближе какой-то троюродной тетки и родни нет...

Да ладно! Рыбалка. Рыжики. Вылазки с ружьем... Дни напролет я пропадал в лесу и на озерах.

— Покинул бы уды-то... К праху бы твое ружье! — выпеняла тетка. — Слышал, Никола-Росомаха потерялся? С милицией искали. Сузем у нас, батюшка, долго ли до беды.

Росомаха потерялся? Вот так новость!

Николой бабки пугали детей:

— Пореви, ужо тя бобыль в пестере унесет.

Его боялись:

— Он может!

Что может, не уточнялось. Может, и все.

К собственной выгоде Никола давал повод к темным толкам. Бывало, возвращается с охоты непременно середи-

ной улицы. Шкурами увещается: связки беличных, волчьи хвостами дорогу метут, а еще куны, рыси. Сам без шапки — не иосят и в морозы — очинная бециркавка распахнута, наружу грудь, торосшая курчавым волосом. «Как промысел, Николай Афанасич?» — спросят. «Что? — черные его произительные глаза как смолой кипят. — Ч-что? С лешним, ишь, в драчки дулись».

Осклабится, захоочет — понимай его как знаешь!

В жару летом, бывало, пойдет Никола в лес, и лыжи на плече. «Куда сиялся, Афанасич, с лыжами?» — «Не бай, не бай! Водяной погостить зовет, шива наварил, Черная Рада ежедень куреей курила».

Расколошмаченная борода. Сутулая кряжистость. Руки висят ниже колен. Под нависшими бровями беспокойным блеском горят зрачки: взглядит, выворачивая белки, как кипятком ошпарит. Такому не диво у водяного гостить, с лешим в карты дуться: неспроста ведь с лыжами средь лета не рассстается... Неспроста по иной день круглые сутки, бобыль он клятый, печь в избе шкварит, искры из трубы столбом. Небось приворотное зелье из трав выпаривает!

Или вот помню: к колодцу утром ведра звенят, и Никола на крыльце покажется:

— Уа-а-а... Уа-а! — распялит рот диким воплем.

Женщины, побрюсав коромысла, опрометью к изbam: ой-е-ей, волки!

— Уа-а-а! — с крыльца Николиной избы тягучий вой, мороз от него по коже.

— Уа-а... а-а-а! — вдруг ответное, звериное, глухое откуда-нибудь с Наволок или Сяндомы.

Никола бороду распустит:

— Х-ха, отзываются! Их вы мои, пятьсотрублевые!

Уж точно, в нетию, в канкан ли — тех волков возьмет. Умел он их подманивать, чтобы открыли логовища. За каждого волка премию — пятьсот рублей по прежним деньгам — вынь ему да положь.

С чудом граничили его охотничьи удачи. За троих заурядных промысловиков Никола сдавал дичи и пушнины, не говоря о том, что изрядную долю мехов он втихаря сплавлял в город, как говорится, «налево».

В колхозе обстояло искажено. Трудодень — налочка в ведомости, расчинишь и забудь. Пушнина же Николе, раз

добывал ее помногу, давала изрядный баатыр. У кого пусто, у него густо. Без сахара за самовар не садится. Деревенские перед ним в долгах: кто муки, кто денег занял — кланяются, оказывают уважение. Как же... у кого после займешь?

Подперев бока, куражился Росомаха, ноздри раздувал:

— Х-ха... Все у меня в горсти! Хочу — сухомяткой ем, хочу — с маслом пахтаю.

Собак держал ораву. Куска им не бросит: «Найдут пропитанье!» Вор на коре псы, рыскали, где бы что украсть. Шерстью все в хозяина, потому что Никола неукоснительно держался правила: «Кого смог, того и с ног. Тяни, волоки! Небось у всех руки-то к себе гребут».

И Никола ирониял? В лесу? Невероятно!

— Где его собаки?

Рукой тетка махнула:

— Придушили! Бедой были пакостливые, все бы им на блажь, все бы чего своровать. Остатняя скрывается, и по ней веревка плачет.

Вот оно что! Не раз уже приставала ко мне собачонка. Считал, ничья. Приблудная. Напраляясь на охоту, изгородь в поскотину, на пастьбищные угодья минуешь, она вывернется из кустов, скинет сей — приспаниками впереди, хвост, завитый кренделем, трястется.

Ласковый, исходящий песик. Облавив дичь боровую. Надо — в воду за подранком сплавает, надо — не присядет на место, день-деньской со мной лазит по болотам.

Когда после выстрела грузно валился глухарь расплатастать на мхах бурье крылья и, отставая от его падения, плыли по ветру пушинки, выбитые дробью, я с трудом сдерживал порыв расцеловать собачонку прямо в ее мокрый нос: умница, без тебя охота не в охоту!

В деревню за мной собачонка не шла. Убегала. Пряталась.

Изловчился однажды, посадил ее на поводок. Боронила дорогу лапами, уиралась, скучила, — привел домой. Забралась собачонка в занавес, потыркивала приказ чин. Зырк-зырк глазенками-щелками — да пулей в окно! Ребятишки зечко у избы оторвались, пристегнй человек — им любопытство. Увидели выпрыгнувшую из окна собаку — шум, гвалт. Схватили: «Изведем росомахину породу!» Отнял, когда новоложки топить с кирпичом на шее.

Пропала моя добытчица: по лесу искал ее, звал — безрезультатно.

Взамен привязался ко мне соседский парнишка, Миша, По-деревенски, Михря.

Берданка — на веревочке затвор, ложа в трещинах. Ко жаная сумка под дичь — ремень длинный, и она болтается, бьет по коленам. Ожидая выстрела, Михря зажмуривался. «Б-бух!» — рявкала берданка, заряд обыкновенно летел мимо.

— Кажись, пороху не жалел, — тосковал Михря. — Потом я мажу-то?

Если дробь достигала цель, он орал от радости:

— Загадал! Загадал!

За уткой в воду Михря кидался в обувке, один картуз, отцовский, налезавший на уши, снимал на берегу: еще утопишь. Хватал дичину по-собачьи, за шею. был в воде руками и ногами — плавал-то неважко. — и выбросив утку на берег, снял гордо:

— Как я ее! Цоп за пищепровод — не рыпайся!

Парнишка мечтал о настоящем промысле. «Обзаведусь путником, — говорил, — душа станет на место. Мамке будет подмога: нас у ней пятеро, все дроби — мал-мала меньше, и тяя на фронте погиб».

— В чем же дело, Миша? — как-то ему говорю. — Наладь собственный: путник, и вопрос исчерпан.

— Может, в Черной Раде путник? — странно посмотрел он. — Не-е, ни в жись. По страху ходить — больно мне нужно.

— По страху? Что ты сказал?

Сопел он, краснел. Наконец я вынудил, признался:

— Покойника боюсь. Нечисто у нас, сузем Николай за чуркан: кто его следом пойдет, живе назад не воротится. Ставь крест... ко!

— Ты в своем уме? — высмеял я его, — чепуху порешь. «Покойник», «зачуркано», «крест»... Дурит вас Никола, спорим, что отсиживается в избушке на путике. Собаки быти дома? Знаешь, это не довод. Случалось, я помню, по месяцу они бегали по деревням без призрну... Слушай, — потом говорю. — наведаюсь-ка я в эту Раду: что это о ней все слух да слухи...

Время раннее. Дорога в общих чертах знакома. Все-таки

я местный. Хм, Черная Рада! Будем посмотреть, как говорится, черная она или просто серенькая!

Миша носом подшвыркивает, набычился.

— Не ходи, дядя Толя. Топь перед Радой, провалы — ни дна, ни покрышки. Летось кобыла Малинка... ну, которая молоковозка. Хромой Никаха в шляпе ее водил. Чтобы голову солнцем не напекло. Смехота — лошадь в шляпе! Выпустили, ушла Малинка в Черную Раду и до сих пор нет. Поди, водяной ее пасет!

— Миша, — смеюсь, — с кем ты меня сравнил, с Малинкой в шляпе?

— А Никаха? Сапер — во, на большой палец. Рокоссовскому мосты строил. «Я да Черну Раду не осилю? Саперы не ошибаются!» Пойти пожел, да обратно на другие сутки едва приволокся. Спросят: «Что с тобой? — он икает, костылем в потолок тычет и плюется с печи. Никаха... сапер!

С тем и расстались мы. Я заключил, что в деревню малый убег. Утку показать ребятам.

До Черной Рады от заполья два, версты по четыре, перехода-волока. Приблизительно, конечно. Тележная дорога через лес, сено прошлогоднее с возов нацеплялось на кусты.

Речка — за добрый километр дала она о себе знать, перекидывая камешки в струях переката.

Покосы. Стога. Непелище свежее на берегу — я делал на днях привал, жег костер.

Осина — листья, хваченные заморозком, румяные, точно снегири. Сел тогда на осину глухарь, снявшись от собаки с брусиных кочек, шею тянул и хрюкал с сука...

Эх, не добывать мне глухарей без лайки!

Подумал так — собачонка откуда и взялась, трусит ко мне, хвост пушистый, в кольцо завитый, трясется. Не скажите, что собаки не умеют улыбаться. Улыбаются, поверьте. Улыбаются! Обрадовалась мне, я — ей: держи хвост дудкой, не дам в обиду.

Через реку лава сколочена — жидкий мостик из жердей. Шатается, скрипит.

Дорогу сменила на том берегу тропка. Заужена кочками, колодником. Сыро, тускло. Скопившийся за многие годы бурелом, вкривь, и вкось, наваленный ветром. Мох, гниль. С сучьев ключьями лишайники... Хоть бы кустик где глазом найти, хоть бы травинку зеленую! Грузнут ноги во мхах.

запинаются об иструхшие колодины, гнилые осклильные сучья.

Но прислушаешься — петухи поют. Жилье-то близко!

И что за деревни: две-три избы супятся из-под кровель окнами на картофельные гряды, а пашни и покосы похожи на заплаты... Сорока там щекчет — это к вестям, кошка забралась на изгородь — это к дождю-сеногною... Заброшенно, тихо все и смиренно, и неизвестно, отчего вдруг с пронзительной ясностью почувствуешь боль за дикающие в сурепке и хвоцах поля, за махонькие эти деревеньки. Ведь тут моя родина, мое здесь кровное, и если здесь худо, то и мне не будет хорошо, где бы я ни был. В долгую мы все перед избами, перед полями и даже перед сорокой на крыше!

Не заметил я, как вышел к болоту. Камыши качают метелками. Осока струится, переливается, как волны по ней ходят, вал за валом. Ходят, ходят и рябят лужи, озерца.

Ворон кружит. Сытый, словно бы жиром смазан, так лоснилось черное перо. «Кру-у... кру-у!» — гортанно выкликал ворон, с высоты озирая протоки, озерца и наплывы бездонной бурой тины.

Клином вдается в топь хвойник Черной Рады. Сосны красными стволами горят — огромные, с зеленым дымом свечи. Всего километра полтора отделяют их, полтора километра мхов-зыбунов, которые, уверен, и журавля не держат.

Достав бинокль, в который на охоте обычно высматривал уток, шарил я, шарил — в бинокле те же все камыши, оконца воды, треста и багульник, разве что озерков, луж как бы прибавилось, да сосновый бор виделся ближе и от того недоступнее.

Молод я был, горяч и самонадеян. Поверну назад? Я? Отступлю перед паршивыми лужами? «Нечисто», «зачуркано»... Черт знает что такое!

Забрало за живое, и сколько я попыток предпринял, чтобы хоть спуститься в болото... Правду говоря, голову начал терять. Ступи от сушки на шаг — готово, на ногах не держишься. Мок пузырят, прорывается его жидкая пленка, и уходишь в трясину по пояс, тебя тянет, засасывает... Лыжи бы! Никак бы лыжи не помешали! Вода ледяная, грязная, с торфом вперемешку. Судороги от нее брали. Вымок я, озяб — посинел, и зуб на зуб не попадает.

Собачонка, лукавая бестия, казалось, ухмыляется на

мои потуги. Скалит зубки и знай себе чешет задней ногой за ухом.

— Зло меня взяло. Выскочил на берег, замахнулся:

— П-шла прочь!

Она шмыг с берега. В топь, в воду. Поплывет? Нет, маленькими шажками по воде: чмок, чмок. Ровненько, как по ниточке — чмок! чмок!

Конечно, конечно, есть ход через трясину! Есть мостки! Хитер Росомаха, лучшая маскировка — стлань под водой пустьте. К тому же древесина в воде дольше сохраняется. Хитер, но и работящий. Адский был труд таскать в болото бревна и укреплять на подкладках: без опоры они утонут. Зимой рубил кряжи, на себе носил сюда, где летом даже налегке тонешь.

Забилась серая водянистая пучина, в бездонной ее прорве что-то ворочалось, дышало, с хриплым клекотом пузырил газ.

Я обернулся: распрымляется осока, влажные пружинистые мхи подавно не хранят следов. Камыши выше головы... Заблудиться в топях — этого не хватало!

Нарубил ножом ивовых веток. Прутьями, кусками торфа, узелками на осоке и камышах принялся отмечать переход.

Бревна располагались по топи нарочито путанными зигзагами. Их скрывали воды и мхи, ползучая травка и хвощи. Сбивалась собака: вплавь, бултыкая в торфянистой каще, искала продолжения мостков. Я ее взял на поводок, так надежнее.

Ежеминутно оскальзывались мы в зыбун: на мне ни нитки сухой, у собачонки бока запали, как бесенок, в тине вывозилась.

Гнилую вонь напускала топь, ни ветерка, воздух застоялся и был отравлен ядовитым дыханием багульника.

А сзади мерещились плеск воды, шуршанье камышей, чавканье тины — звуки шагов. Против воли заоглядывался. Кто? Кто там?

Никого! Один ворон кружит...

Солнце заполдень стояло, когда мы с собачонкой выбрали из болота.

Красные сосны, белый ягельник. Суша... Наконец-то суша!

С бугра на бугор, лужайками и прогалинами потянулся

ся путник — с него Никола дань лесную брал. Некоторые охотники в те годы бросали промысел: зверем, мол, леса оскудели, пушнина не в цене, а Никола связками меха носил, дичь пестерями. Отсюда носил — из Черной Рады.

Не вдаваясь в детали, путник — это линия самоловов. Иногда низкая частая изгородь из хвои, плотно пригнанных жердей, веток, прутьев, где через сто-двести шагов изложены ворота для западней. Иногда попадались и просто одиночные ловушки. Мож там с земли содран. На таких расчищенных площадках — «гуменцах» боровая птица: глухарь, рябчик, тетерев — купаются в песке, чистят перья. В воротах изгородей, то на пнях, то прямо на земле и на срубленных деревьях — везде плашки, западни-слопцы, петли. Крепко,очно, если хотите, с умом все сделано. Площадку с песочком, чтобы дичь к ней привадилась, не в любом месте устроишь. Густы кроны сосен, лишь в бреши в хвое падают лучи солнца, достигая земли. Падают, растекаются пятнами, от сухих мхов сочится терпкий аромат. Здесь, только здесь, на припеке, да на бугре всего добычливей ставить на птицу западню или силянью петлю! А куница, скажем, по поваленным деревьям стремится бегать: нет валежины — так само дерево сруби!

Километр за километром тянулся путник.

Поднимешь бревна западней — под ними груды затхлых перьев, кости, протухшие тушки белок, зайцев. В петлях гниет давленная итица.

Разбой, да нас ли чем удивишь — так мы небрежны к тому, что имеем, хоть и повторяем к месту и не к месту: мать-природа! В самом деле, в автобусе воринка полезет в карман, ну, тут мы сго! Сжимает воришку в потной ладони пятак или там горсть мелочи. Не важно, сколько украл, важно — украл! А лес? Природа? Возмущаемся небрежением к природе, осуждаем и все такое. Но дальше что? После благородного негодования — что?

Приятель в лесу срежет лихим выстрелом лягушку: «Лягуша, знаете, взыграла». Пожурим его, конечно. Зачем, слушай, так-то? Полезная птица и все такое. Руку, стрелку, однако будем подавать: стоит ли портить отношения из-за пустяка? Руки не подадим, спиной отвернемся, — тоже, извините, позиция! Главное, удобно — спину показать. Я свое отношение проявил, и что твориться за моей спиной... Есть законы, общественность!

Я повторяю избитые вещи. Не ново, конечно... конечно.

Но река, превращенная в сточную канаву, — ново? Отравленный зловонным дымом из труб воздух, парк в пригороде, замусоренный консервными банками, обрывками газет и стонущий от транзисторов — это ново? Ново, если на машинах с зажженными фарами давят по вечерам зайцев? Если рыбу глушат взрывчаткой?

Шел я бором с собачонкой. Кулаки сжимались: ну, Никола... попадись ты мне!

Бор чистый, отлично просматривался, поэтому издали мое внимание привлек непонятный бугор. Колодина не колодина, муравышице не муравышице. Собака рвала поводок. Подбежали мы... Лось! При последнем издохании! Подплыла лужей крови, навылет пробитый копьем.

Копье? Что за нелепость... Из ружья убить, петлей поймать. Но копье?

Древко обломано. Рана сквозная, высорывается зазубренный наконечник. Какой же дикой, нечеловеческой силой нужно обладать, чтобы поразить такую тушу! Копье... Все-таки откуда копье, черт возьми!

Жив? Я прав, и жив-таки Никола-Росомаха?

Вст и его избушка-скрытия. На краю прогалины. Елки заплы над кровлей простерли. Без трубы, курная избушка: топят их «по-черному», то есть дым уходит через дверь либо окно. Мок в пазах. Кособочится убогая.

Представлял, как Никола зимой сюда приходит с пугичка — что-то перевернулось во мне. Устал вусмерть старик, и обогреться бы, сварить похлебку, но патроны надо сперва зарядить, шкуры с добытых зверей снять. Быюга о стены блеется. Снимает старик шкурки, кровь с пальцев на штаны вытирает. До бровей бородой зарос. Грязь в избушке, чад, копоть... И завтра снова ему в сугробах на лыжах вязнуть, снова в итоге чадная избенка, одиночество, копоть и грязь... Полночью, если поутихнет пурга, издали, из тьмы, из-за леса — петушиный крик. Деревушки там. Ни кустика в них, ни дерева. Истари ведется: перед домом куст, так и дом пуст. Лес кругом. Суземье дикое. Его ли беречь и почитать, если кустарником покосы одолевают самосильно, если пашни из заведешь, покуда лес не вырубишь, не выкорчуешь!

Всегда в веком шло: перед домом куст, так и дом пуст. // вообще: кого смог, того и с ног...

Может быть, Никола, дальше Черной Рады нигде не сывавший, не понимал, что времена переменились?

Так много ли чесги ополчиться на неграмотного старика? Собственно, кого я затеваю вывести на чистую воду?

Собака, спущенная с поводка, покрутилась, повертелась и села у порога, завыла, как заплакала.

Швырнул в нее чем попадя: затинись! Отбежала в сторону. Воет. Хоть ты что с ней делай — воет, выматывает душу.

Лавки из жердей. Козлы — дрова пылить. В чурбан воткнут топор. Ружье — стволы погнуты, ложка разбита в щепы.

Снаружи через окно в избушке ничего не разглядишь, темно. Ступил за порог, пригнувшись под низкой притолокой. Сенцы. Рванье какое-то на гвоздях. Дернул за деревянную скобу. Не поддается, заперто. Принес топор, попетели щепки. На крючок изнутри было заперто. Откинул крючок и, растворив дверь, успел краем глаза схватить: на нарах, задрав бороду к потолку, неподвижно лежит Росомаха... Мертвый...

Знал он, ведал, что творил!

Почуяв погибель, хищники уходят в чащу, забиваются в глушь, куда никому хода нет, и в лютом зверином одиночестве встречают свой смертный час. Так и Росомаха уважал больной в недоступное лэговище.

Собачонка по нем воет, ели, черные монахини, заупокойно шумят...

Цел я обратно, пустяками пытался отвлечься: гриб-боровик ну и здоров, на сковороду не уместится! Муравьиные кучи высоченные, рыжие, одна напротив другой. Чего бы муравьям не объединиться и сбиться в одну, вог гора бы была!

Напоротники, кусты волчьего лыка. Сосны. В стороне низкий овраг, по-местному «рада»: ольшаник по колена в стоячей воде, зараженные от сырости ели. Шершавые березы в лищаях, шелушатся берестой.

И позади собака воет, и впереди ворон кричит с болота: «Кру-у... кру-у!»

Тоскливо мне было, не чаял, когда и выберусь отсюда.

Вдруг раздался тупой удар. Будто струна лопнула. И стои. Пугающе дико произнучали и занесли внизанито эти звуки, больно параниты по первому.

Послушают: ветер верещит, поднявшись перед лицом, угрюмо шумят, одинные ссыпают гремучий лист.

Не но себе становится от сырых выкриков ворона, от тревожного гула ветра, от мрачного ущелья оврага. Лучше б мне было возвращаться по путику. Да слова видеть распахнутые зевы настей, закровинелые бревна ловушек, задыхаться от смрада... С мяя хватит!

Погулял с ружьишком. Отдохнул, прогол трудовой отпуск.... То мне шаги в топях мерещились, теперь сгоны!

Собака взляяла. Не у избушки — ближе. Взляла и опять зашлась воем.

Неладно что-то! Бросился на ее голос, не разбирая дороги.

Внутренне я был готов ко всему, но то, что увидел, произошло самое худшее.

Михря стоял спиной к сосне. Свешивал голову на плечо, рубашонка задралась. Он стоял, подогнув колени, без единой кровинки в лице, белом, как бумага.

Копье вошло в грудь, намертво пригвоздив его к стволу сосны. Древко, казалось, покачивалось после удара. Точнее, не копье — длинная гибкая стрела. Стрела самострела.

Михря, ты, Михри! Как же, по-охотничи разве: ушли на охоту вдвоем, а вернуться ему одному? Не иришьто бросать товарища: сузем ведь, Росомахины ведь пугиши!

Он крадучись пробирался по моим следам топью: западал в камышах, справедливо боясь, что я его верну домой. В бору, вероятно, меня потерял из виду. Услышал вой собаки, побежал, и попалась ему лосиная тропа, и пропустил он по ней...

Росомаха, если что хвалил, приговаривал: «Головой ду маю, руками делаю».

Лук тугой, окован стальными пластинами. Сложная система насторожки и спуска. Нечего возразить против: головой думано, умелые руки приложены к самострелу.

И мертвый схватил живого!

Ружье разбил. Пасты, самострелы перед смертью привел в готовность, и, можно думать, годы и годы после Росомахи зря будет в суземных угодьях гибнуть зверь и птица...

Называется — хлоннул Никола дверью на прощанье!

Древко было липким от крови. Вынулось неожиданно легко. Я подхватил обмякшее тело мальчика, уложил на траву.

Приник ухом к груди. Дышит!

Мигом я ножом распорол пиджачишко.

Счастлив твой бог, земляк! Самострел предназначался на лося, чтобы пустить стрелу на точно заданной высоте. Михря парнишка низкорослый, и ранило его в плечо. Не опасно, кости не задеты. Больше от испуга и боли, внезапности удара малый впал в беспамятство: струхнешь, когда повиснешь пришпилиенным к сосне! И висел-то Михря боли,шие на пиджаке, то и рубашонка задралась.

Я унял кровь. Перевязал рану. Поднял к его губам фляжку: хлебни, Миша, оклемаешься.

— Дядя Толя, путник-то, — были его первые слова. — Добра, добра-то: носить, не переносить! Дорогу-то теперь я знаю.

Повел мутным взглядом: — Потому пиджак на мне разорвал, мамка заругается.

Пиджак — заплата на заплате...

Теперь бы поставить точку в давней этой истории о Черной Раде, но буквально на днях пришло письмо из деревни: Михре дали срок. Годами браконьерил в Черной Раде, переняв повадки Росомахи, и попал в конце концов на скамью подсудимых.

Парнишка был ничего, верный. Жизнью рисковал ради товарища: нужно было мужество, чтобы пройти по топи, над которой ворон с горганным криком кружил, лоснясь темным пером.

Задумаешься иногда: черт возьми, а действительно, путники, подобные Черной Раде, способны перерождать в хищников и хапуг без совести и чести в общем хороших людей? Путики, где мертвый хватает живого...

И разве один такой путник в наших-то лесах?

А ты говоришь: места... номера дроби!

Н

ОЯБРЬ — ЛЕДОВЫЙ КУЗНЕЦ



Стынет. Тучи влекутся рыхлые, серые, как волчьим мехом подбиты. Беспросветна мгла ненастяя. Среди путаницы сучьев, хвои покраснеет гроздь рябины. Покраснеет и погаснет, как тлеющие на ветру искры...

Бывает, очень холдным выдается ноябрь. Солдаты, охранявшие взятый штурмом Зимний дворец, в октябрьские дни 1917 года грелись у костров.

«Огонь
пулеметный
площадь острог
Набережные —
пусты.
И лишь
хорохорятся
костры
в сумерках
густых*, —

писал поэт, очевидец революционных событий в Петрограде.

Чем-чём, а стужей ноябрь оделить может!



Первый
снег.

Однако и поздней осенью случаются погожие деньки. Тепло в хвойных заташках. Комары-толкунцы хороводят. Грэзл весной, вдруг напружиняются почки жимолости и за- зеленеют.

На полынях галдят кряквы, плавая о бок с гоголями. Угка-морянка протяжно выкликает: «Ауле-е-ей! Аулей!»

До середины ноября держатся у нас лебеди.

«Кто в ноябре не зябнет, тому в зимнюю стужу не мерз- нуть», — говорит пословица.

Медведь в берлоге — что ему холода!

Полосатый бурундук набил погреба съестным доб- ром. Лежит, подремывает. Проснется, погрызет сладкий

корешок, припасенный с лета, сухим грибком закусит. У бу-
рундука зима — одна ночь. Длинная-длинная ночь.

У пушистой норки есть холодильник. Не «ЗИЛ», даже
не «Саратов», но все-таки: натащала в щель лягушек, ру-
чей замерз — вот и холодильник.

А на белку клести батрачат. Налетят клести на елку.
Сколько они шишек нароняют с дерева... Десятки! Уйдут
шишки под снег, все белке достанутся. Зимой и весной буд-
дет белка в сугробы лазить, доставая шишки. Что ей хо-
лода, бескормица, если батраков крылатых у нее — считай,
не сосчитаешь. По всему лесу летают!

Пауки — вот хитрецы, забрались в муравьище. Высок,
сух муравейник. Паукам обеспечена зимовка.

На дно водоемов залегли караси, лини, в тину зары-
лись... Тепло!

По перволедку отлично клюют щуки, окунь, лещи и
плотва, но держатся там, где поглубже, значит, теплее.

Ноябрь — «сентябрь внук, октябрь сын, декабрю —
родной батюшка». Ледовый кузнец, ноябрь пруды, озера
мостит, реки, ручьи в оковы кует, в плен берет до самой
весны-красны.

Трогательны в своей наивности и простодушии преда-
ния старины, древние обычай. В ноябре, например, спра-
влялись «курыны именины». Девушки воровали курицу.
Кто жадней да богаче, у кого не убудет. То-го, было смеху,
веселья: курица-именинница, быть может, одна досталась.
а девушек, парней на посиделке — лавок не хватает! В об-
щий суп, конечно, курицу!

Разные были обычай. Отразились в них не только тем-
нота, суеверия, но и неунывающий в бедах народный ха-
рактер, открытый добру, и стремление украсить жизнь, под-
няться над серыми буднями, и любовь к природе.

Так, 13 ноября по народному календарю «синичий
праздник». Кормушку склопить, горсть крох, крупы насы-
пать — кого затруднит? Привадил птичек — и себе доста-
вил радость, и возродил добрый обычай, завещанный пре-
дками...

Уже сейчас можно развешивать птички домики в садах
и парках, вблизи жилья: обветреют, промоют их дожди,
прокалит стужа — в такие скворечни, дупляники, синичин-
ки охотнее весной поселятся крылатые друзья.

По поговорке, приезжает ноябрь на пегом коне: то снег.

то грязь, то дождь, то холод. А уезжает на белом — плотно легли снега, пухом выстлали путь-дорогу зимнему декабря...

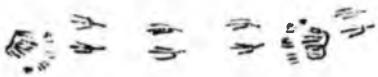


Наверное, самый теплый ноябрь выстоял в 1967 году в Вытегре, когда среднемесячная температура воздуха составила $+1^{\circ}$. Для ноября это немало! Самый же холодный ноябрь выпал на долю В. Устюга, где в 1956 году трещали морозы: средняя месячная температура составила -11° , как бывает в январе в Вологде!

Ледостав на Кубенском самый ранний за последние годы — 15 октября (1946 год), самый поздний — 11 ноября (1938 год).

Самый ранний ледостав на Сухоне (у Тотмы) — 22 октября. Это было в 1920 году. Самый поздний (также у Тотмы) — 31 декабря! Только к новому году вставала Сухона, и отмечалось это в 1923 и 1928 годах.

Кто, где? Куда и откуда?



КУНИЦА — ходит «грядой», то есть поверху, прыгая с дерева на дерево. Летом другое было дело: то птенчика поймать глупого или глухаря линного схватить, то яйца стащить у тетерки из гнезда или в черничнике спелыми ягодами полакомиться. На земле резвилась куничка! Нынче тошного

дятла словит и рада; всего не съест — про запас унесет. В случае удачных охот куница спит в дупле сутками; силы бережет. зима вся впереди.

ВЫДРА — после ледостава трудней в воду попадать, зато рыба по глубинам стабунилась — опять выдре хорошо. Сытая за-

Бавляется, катаясь на брюхе с берега. А в рыхлом снегу ей трудно, лапки коротки. Выловив всю рыбу, выдра скитаются в поисках полыней, незамерзших перекатов — по льду озер, руслами рек, использует лыжни, тропы других зверей.

ЛАСКА — ходом рыжей полевки, туннелем подземным крота, снегом-целиком — всюду белый зверек проточится, только бы слух поймал подозрительный шорох. Ласка — старатель, избавляет поля от мышевой напасти.

РОСОМАХА — как бы ни глубок, сырчук был выпавший снег, бродяге не помеха: широки ступни лап, в сугробах не вязнут. Участок, росомахой занятый, бывает в тысячу квадратных километров. Ночью не хватает, и днем росомаха рыщет по хвойному безлюдью глухомани.

БАРСУК — просит не будить! Вход к барсуку снежком прикрыто...

ЕНОТОВИДНАЯ СОБАКА — зажирила, отъелась — и на покой, в нору. У нас в области насчитываются не более 2000 енотов.

ЛОСЬ — накануне зимы самые старые быки сбрасывают грузные пудовые рога: кланяемся-дё тебе батюшка Мороз! Объединя-

ются лоси группами, по 3—4, до 10 в каждой, пасутся в крепях, в осинниках, скрытых за топкими непромерзшими болотами.

КАБАН — в сумерки в картофельных полях, пска землю стужей не сковало, выкапывает клубни. В одну из недавних зим долго кабан за г. Белозерском в колхозном поле картошкой питался. Бывает и в дубравах, рывком выкапывает из-под снега жеди.

ГЛУХАРЬ — «половички стелет». Сощипывая клювом хвою, глухарь ее на снег сорит, образуется как бы коврик под сосной. Все глухари в предзимье в глушь забились, к окраинам болот, поросших сосной, в сосновые боры. Носят по деревьям в сучьях, на земле. Холодно, да полуметровый сугроб нужен, чтобы такой громадной птице в нем зарыться.

ЛЕБЕДЬ — улетел, на крыльях снег унес дальше на юг!

ЧЕЧЕТКА — по заполярью в тундре лебедю была соседка, а осталась у нас. «Чет-нечет!» — тренькает, привешиваясь к березовым сережкам вниз головой. «Чет-нечет?» — о чём, на кого гадает? Может, счет снежным дням повела?

СКВОЗНИКИ

В голове не укладывается, как это так лисица опросто-волосилась, что в полном смысле слова застал ее на пороге собственного жилья!

Траву сожгло заморозками. Рассеяв с сучьев вороха сухой листвы, сквозили березняки. Таилась в них грусть, которая шла от сумрачных елей, от свиста ветра и стылого неба.

Лужи на дорогах были скованы льдом: чистым, прозрачным по полянам, темным и непроницаемым — по ельникам, где шишки, сбитые ветром с мохнатых вершин, размокли и придали воде оттенок черной туши.

Блеклый осиновый лист, перекатываясь на прогалине, жестяно гремел. На сквозь промороженные сучья под сапогами трещали гулко, и шаги отдавались по лесу, как в пустом доме.

Я знал о лисьей норе в этом перелеске среди обширных полей. Тем не менее в мыслях не было, что застану хозяйку дома. Попутно привернулся, от нечего делать.

Нора под корнями громадной старой ели. Кучи серого песка у входа, выброшенные при расчистке норы, мелкие птичьи кости, перья...

Вынырнув наружу, лиса уставила торчмя уши, желтые с прозеленевшими глазами вперились прямо в меня. Увидела!.. Я не шелохнулся, и лисица неспешной рысцой потрусила под елками. Я медленно-медленно опустился на колени, прикрылся кустом. Лисица неспоро перебирала лапками и хвост, исседа-рыжий, с белым пушистым наконечником, несла бережно, словно единственная в ее жизни забота — носить великолепный пышный хвост.

Она отбежала недалеко. Поосмотрелась. Обнюхала воздух. Взялась копать мох.

Захоронка! Лисица объедки прячет. Поживиться за счет ближнего в лесу найдется радетелей. Лисы сами не прочь почистить чужие кладовки, потому остатки своих охот стираются скрыть со всей тщательностью: зароют в землю, в снег и лапками сверху утрамбуют, носом печать поставят.

Однако лисонька очень уж долго копалась. Вернее, она драла мох лапами, вот и все.

Затем набрала мху в пасть и скрылась в норе.

Дважды она возвращалась за надранным мхом и уносила под землю. На зиму постель она стелет, да?

Нора лисой используется для вывода потомства. Но нет правил без исключений. Часто навещает или редко она свою нору, все-таки нора, как бы ни был вечик схотовичий район лисы, остается в его пределах. Нереспать и отдохнуть под елкой, на скирде соломы, свернувшись калачиком, зверю в его шубке проще простого. Но захворай лисица — идет в нору. Ранена — в нору. Непогодь пала, холода — спешит лисица в норе отсидеться, если не в снегу под елками. И потому от одной мысли, что лисица в морозы спать будет на мху и укрываться хвостом, мне стало как-то хорошо: слышите, лиса к зиме постельку стелет!

С догадкой: перед холодами лиса постель себе потеплее перестилает, — и я ушел бы. Но пало раздумье. Догадываться — еще не значит знать точно, вот в чем дело.

Ждал я пождал — нет лисы. В нору к ней не заглянешь, не спросишь:

— Эй, кумушка, чем занята?

Я походил у входа. Нора давнишняя, наверное, в нем отнорков-то, запасных выходов! Я слежу за одним, лиса тем временем улизнет, что называется, с черного крыльца и хвостом не махнет на прощанье. А то отсидится: под землей на нее не каплет, не дует.

Ни с чем бы я убрался восьмой, да попался на глаза один из запасных выходов. Лучше сказать, отдушина, узкая щель, через которую лиса лишь при большем желании могла бы проплыть. И была щель изнутри заткнута мхом. Тем самым, какой лиса под елками драла. Мх мажкий, пружинистый. Свежий, это сразу видно.

В семейной норе, где летом пеструются мышата, ли старуха непременно налагивает вентиляцию. Лисятам в этой душно, недолго шубки подпарить. Через прорытые щели-отдушины поступает свежий воздух, гуляет прохладный ветерок.

Ветерок? Но зимой он к чему? Что летом ветерок, зимой сквозняк!

Дерет лисица мх, в нору носит. Сквозняки ей не приятся, верно? Здесь, в норе, она будет отсиживаться в сильные стужи, в метели, а также в оттепели — пуще чем сквозников она боится, когда шубку мочит.

С ЛЕГКИМ ПАРОМ!

Из кустов медведь показался. Хвойная стена леса как бы приотворила одну свою лазейку, пропустила хозяина и вновь закрылась без звука.

Зверь был тучен. Живот отвисал и колыхался на ходу. Лоснилась шерсть, бурая, а на холке почти черная и изрыжка-золотистая в пахах. Как баки, выхоленные, ухоженные, длинная светловатая шерсть по щекам от ушей. На переносице заметна и нить своеобразного пробора. Добер зверища! Шуба... ох, и шуба. Не то, что весной: и худ после берлоги, и линяет тогда медведь. На заду шерсть свалиается, клочьями лезет. Так и подумаешь: одни порточки на тебе.

Мишенька, и те на ходу спадают, до того, брат, отощал...
Зима, такое дело!

Тихо двинулся он вдоль берега озера. Тихо — не то, пожалуй, слово. Солидно. Начальственно! Ставил лапы носками внутрь, оттого косолапил. Однако и этим не ронял себя в основательной представительности. Шло ему косолапить, матерому, раздобревшему космачу.

Чаще и чаще он обнюхивал и скреб когтями лед закраин. Замышлялось у него что-то — это ясно. Иногда он уши ставил топориком. Поводил носом. Замирал. И точно расплывался, сливаясь с теменем леса. Неподвижного, его можно было принять за что угодно: за кучу торфа, обнаженный бугор или муравьище. Лес, сузимье нехоженое, породившее зверя, и оберегало его, как тишину застойной, хмурой, готовой усилить и вернуть любой посторонний звук, так и слитной теменем дебрей, где густа навись хвои, вкрадчивы мхи, высоки завалы бурелома.

Мало-помалу медведь достиг устья ручья. Подмытый течением лед был слабее. Когда зверь дотрагивался до него, лед скрипал с тем же звуком, с каким палец ведет по отпотевшему стеклу.

Медведь проворчал. Опустил лобастую голову, постоил. Смаргивал дремучими глазками — морда набок, округлые уши топориком. Мыслил.

О чём?

И все ворчал недовольно в нос. Казалось, сейчас рявкнет:

— Па-ачему лед трещит? А ну, подать сюда Тяпкина-Ляпкина!

Определенно, не по нраву ему, что лед не держит.

Ворчал, гневался хозяин. Очень он вспыльчив, медведь. Такой у него характер.

После раздумья — голова набок, глазки смаргивают, — медведь опустился на четвереньки и заполз на лед. Полз он, оттягивая зад. А так и на четвереньках медведь был сама солидность. Будто хотел кому-то сказать: «За вас стараюсь... да-а!»

Бугрились, мелко-мелко шевелясь, лопатки под лохматой шкурой.

Лед прогибался, пошел трещинами.

Но вместо того, чтобы вернуться на сушу, медведь рыв-

ком вскинулся на дыбы. Громкий всплеск — стоя, солдатиком, зверь ухнул под лед.

А вынырнул... Ну и морда! Самая блаженная морда: глазки выпучены, зубами прищемлен язык.

Он сопел и кряхтел, шлепал лапами по воде и битому льду.

Медведь купался.

Только-то?

А какие были приготовления!

Вылез на берег — к шерсти налипли листья, сметенные в воду с ближних берез и ольшин. Дымила шкура на морозе, как с горячего полка медведь слез, славно напарившись.

Он отряхнулся. Повалился.

И пропал. Исчез. Стена леса отомкнула неприметную лазейку, пропустила и вновь замкнулась — на семь запоров, на семь ключей...

Он ушел, унося на пахах прилипшие листки, — точно с веником была баня. Последняя баня.

Заперпадал сухой колючий снег. В полынье снег таял, спаивая осколки льдин.

Идти и идти снегу, льду рasti, а медведю пора в берлогу.

Пора, пора на покой!

Шел снег, на хвойных иголках вязал кружева...

ЧИСТОТА

Выстужены запахи: чем и нанесет, так мерзлыми листьями, сметанными в ямы, мхом, опаленной инеями травой.

Бледные березы зябко жмутся ствол к стволу. Ели ежатся...

Издали слышно: подлетает синичья стая.

Налетела — возня, писк.

— Чи-и... чи-ис, та-а, та-а! — перебивая друг друга, выкликают синички-гайки. Цепляются к сучьям, всплескивают крыльями. Сама они удаль. Серенькие, белощекие, блестят черными глазками, будто подмигивают — до чего озорны и лукавы. А уж пушисты — подуй, кажется, ветер и облетят синички, как пух с одуванчика, ничего от них не останется, кроме звонких пронзительных трелок:

— Чис... чис! Та-а... та-а!

Есть у гаек еще дья имени: «пухляки» — за воздушную

пышность оперения, и «чистота» — за прозрачный, звенящий наигрыш.

Шустро шныряют по сучьям, белыми щечками мелькают. Взде-то присунутся. Тут обнаружили яички бабочек, там гусеницу из захоронки выколупнули, здесь ташат жука за уши. К стволу прицепиться, опираясь на хвост, пухлякам ничего не стоит; повиснуть вниз головой — можно, ложалуйста! И юркнуть в густоту сучьев, столь плотную, что комару туда не забраться, — ничуть их не затруднит!

Есякую мелочь высмотреть, выщупать клювом — в их характере. Шарят пухляк в пальх листьях, попадается что нибудь подозрительное — он раз, и на язычок. Не пропустить бы червяка, гусеницу, слизня вредного. Прочесывают тайки лес любо-дорого.

Себя при этом расхваливают:

— Чистота-а... та-а... та!

Конечно, это не очень скромно с их стороны. Однако про кого и сказать: чистая работа, как не о них?

Благодушно жмурил ель зеленые ресницы. Когда гайки-пухляки выщипывают клювиками, из щетинистых лохм выуживают всякую нечисть, елке, может быть, и щекотно?

Стара, седа ель: ствол во мху, сучья до земли, образуют у подножья глухую пещеру.

Пролезла в пещеру одна гайка. Через мгновение с криком выюркнула обратно — перышки на темени дыбом.

Ай-я-яй, какой крик подняли синицы, на нее глядя.

Сорока с просеки отозвалась, пустила трескотню.

Сойки откуда ни взялись, добавили шуму и гаму.

Потом кто-то как заворчит в хвойной пещере!

Вышла рысь: «М-р-р... Поспать че дают оглашенные!» К шкуре белесой налипли хвоинки и мусор. Отряхнулась рысь. Развязила пасть в зевоте и поскребла когтями елку. Кошачьи выгибая спину.

Пухляки надсаживались в криках: «Та... та-а! Та злодейка, та... та! Та! У лосихи лосенка сцалала, глухаря на брусничнике поймала! Та-а... та-а!»

Не любят таежные хищники попадать на суд лесных битателей, хотя бы и птичек вроде пухляков. Не нравится. Когда обнаруживают их скрытые тайники. Прыжками-спинками рысь вглубь леса. Пухляки за ней гурьбою.

Отстали...

Летают пухляки неважко. Слабы нетренированные крышки. Порхать беззаботно — досуг ли сторожам лесным? Всегда при деле, всегда в труде и заботах маленькие холтуны-синички.

ПО ГРИБЫ

О радости пела летом листва, струясь, блеща и сверкая в солнечном потоке, звеня под струями дождя, плескаясь на ветру. Но кто расскажет о грусти ожидания ходов и выюг в обнаженных лесах? Замкнулись в своей печали белые рощи. Снегом присыпаны мхи, гнилые колодники, нахмуренные лбы муравищ. Никнут рыжие травы. Лишь под елками еще чернеют прогалины — хвоя приняла снег на себя.

Шурша корой, по еловому стволу спустилась белка. За возилась у подножия дерева. Поднимая пушистый, расчешанный хвост, перепрыгивала с места на место среди моховых кочек и надолго задерживалась у пней и валежин. Иногда настораживала уши с кисточками, приподнималась на задних лапках, сложив передние крестиком. Потом оказалось, что в передних лапках у нее... лисички! Желтый нарядный грибок!

Ай да белка, до самых морозов у нее грибная свежинка.

И то сказать: теплая изладилась осень, в середине октября в укромных затишках можно было наткнуться на сыроечки, те же лисички, в октябре попадались и белые грибы.

Сыпался снег. В белом сумраке потерялись дальние деревья, роица обрела трепетную глубину...

КОНЬКОБЕЖЕЦ

Небо стало ближе, поволоченное студеной хмарью. В зените, однако, промонна, точно голубая бездна, в которой в самом дне дрожит и мерцаает одинокая звезда, исходит слабеющим светом.

В поле — желтая тонкая полоса зари, озябшие кусты ивняка, запахи холода. Синие запахи. Синие, как этот нег... Матово белеют крошки синевых, бурых облаков, сгруппированных над грядой черных лесов. Облака сулят снег. Снег на снег...

Сколько раз ходил я этим полем осенью, направляясь к Присухонской низине, и всегда угнетала его пустота. Оно было необитаемым. А выпал снег и открыл, что поле, кустарник, заросли шиповника и рябины густо заселены.

Следы, следы... Мышьи строчки, наброды тетеревов, заячьи одиночные следы-малики, следы ласок, гирностаев, лисиц. Лисиц множество, оказывается. И это под самым городом, откуда видна мачта телецентра! Это рядом-то состройкой — неподалеку возводятся совхозом двухэтажные жилые здания, свининарник на две тысячи голов, прокладываются асфальтированные подъезды!

В низинном кустарнике лужи стоячей воды застеклило льдом, присыпало снежком. Бежал ночью кустами хорек: следки его отпечатались четко, хоть коготки считай.

Бежал, прыгал хорек да и попал на лед, подскользнулся и на лапках, будто это коньки, лихо проехался по луже из края в край. То-то, наверное, визжал лед под острыми коготками, то-то дыбом поднималась гладкая глянцевитая шерстка зверька от быстрой езды!

Вот еще вспорот снежок на льду, опять проехался хорек. Уж не нарочно ли он катался?

Трясут хвостами сороки на березе. И они удивлены, и они не ожидали, что завелся среди хорьков лихой конько-бежец!

•ИЗ-ПОД ПАЛЬЦА•

Рюкзак округлился. Словно невзначай клапан расстегнут. Заячьи лапы наружу, разжигают у пассажиров автобуса любопытство.

— Из-под гончей, поинтересуемся, взяли зайца?

— Нет, из-под пальца.

— Да? Что вы говорите!

Естественно, недоумение, расспросы. Как — «из-под пальца»? Что за новый способ?

Шуму, разговоров пойдет! Даже водитель обернется. И непременно в толпе кто-нибудь состроит усмешечку. Нашли, мол, у кого правду пытать. Охотники, они такие: с оглоблей в рот заедут и выедут!

Но и округлившийся рюкзак, и разговоры в воскресном переполненном автобусе пока впереди. Так сказать, мечта пламенная, игра воображения.

И заяц «из-под пальца» — впереди!

А мечта осуществится. В скором будущем. Обретет явь в виде белого, в мягкой шерстке, с сивыми усами зайчишки. Порукой тому мой сосед. По образованию Фридрих Васильевич ветеринар, по призванию охотничьему — поклонник белой тропы. По мастерству прямо-таки профессор. Крупный специалист. Заячья гроза. Выпал бы снег, первая пороша — его ни дома, ни на даче не застанешь; в полях под Оларевым скитаются. Есть их, бродят любители косых потропить, поги гудят, до того уходятся, а если у кого на ремнях за спиной белячок ушами свешивается, то у Фридриха Васильича.

По два зайца за выход — показатель, а?

Уламывал я Фридриха Васильича: возьмите да возьмите с собой, подносчиком патронов быть у вас рад.

Смилиостивился:

— Мадно, — говорит, — беру.

Ждали первого снега. Осень выдалась теплая. Не морозит, снег не порхнет.

Сроки выходят, зима не торопится.

19 ноября наконец-то полстели белые муhi. Слоем, марли прозрачнее, затянуло поля.

Тропить — значит по снегу, по следам найти, куда зверь после кормежки убрался на отдых. Выгоднее всего сослуживать русаков, однако, вывелись они в наших угодьях, стали редки и находятся под запретом. На беляков охога трудна: держатся, по преимуществу, в лесу, где каждый кустик их поспать пустит. Залегают иногда в таком частом ельнике, в заболоченных ивняках и кочкарниках — собаке не пролезть. В поле видно, куда заяц побежал. Другое дело в лесу. Выметнется снежным комком беляк... Всегда внезапно! Не поспел ты с выстрелом на заскидку, глядишь, косой заслонился кустами, под защитой елек пустился наутек. На мушку глазом не поймал — дробью не догонишь!

Кормятся зайцы ночью. Напутают к утру, наколесят снег во всех направлениях примут. Искусство надо, чтобы выбрать необманную тропку-затопицу, по которой косой указывал на лежку.

Следы — по-охотничьи, «малики» — бывают жировые и гонные. Собираясь дёгнать, заяц мечт «петли», сдавливает и странивает следы, делает «скидки», «сметки».

Увлекательно и заманчиво тропить косых!

Колкий морозный воздух. Снежная сырость задумчи-

ьых хвойников. Зори над полями. Разноцветные искры
ниря. И бодрый стук дятла, и перекличка клестов, и голубые следы на сугробах среди ржавых трав, присыпанных снежком...

Теперь самое время сделать признание: на зайцев мне не везет. Как-то получается, что стоит выйти за косыми, то обязательно именно мой бутерброд падает маслом в грязь!

Всю неделю по вечерам мы с Васильичем сходились сточить детали предстоящего мероприятия: во что одеться, что на ноги, какая дробь должна быть в патронах.

Помню, в четверг Васильич вздыхал:

— Ах, и пороша нынче: короче заячьего хвоста.

То есть, снег пошел поздно, прекратился сегодня вскоре после полуночи, старые заячий следы засыпал, оставив самые свежие. Ясно, по такой пороше удобно тропить. Понадется малик, то короткий, к лежке зайц шел. Держи ружье наизготовку — вот-вот, сию минуту вымахнет белячка из кустов, пойдет чесать лесом, подымая снежную пыль шерстистыми, как бы подбитыми войлоком лапами!

В пятницу морозило, деревья на бульварах стояли в льсе.

В субботу — то же самое, мороз, бесснежье.

Васильич раздумчиво сказал:

— Будем брать беляков из-под пальца...

В потемках, в самую темнозорь мы высаживаемся из загородного автобуса. Мигнул он красными огнями и, удаляясь, зашелестел шинами по обледенелой бетонке.

Справа — деревни близ полей. Крыши белеют, печные трубы, как пеньки.

Вонзаясь острием в лес, слабо мерцают колея, накатанная полозьями саней. Дорога знакомая, и не узнать ее. Мягко заровняны ямы и ложбинки, присыпаны сверху когодины и муравьища, и рыхлую их белизну воспринимаешь за тени.

Углубляемся в лес, считаем заячьи малики: первый... второй... Ого, четвертый! Есть зайчихи!

Развидняется. Носмуглели березы. Разжижила гуща зори, под цветило ее мерклой зеленкой.

Свет идет от снегов, от берез — голубовато-палевый, чайный.

Небо заспанное. Узка лазоревая опозека над ликами елей.

Новый малик. Лиловоет, расплывается клякесами. Заяц дорогу пересек.

— Пошли? — взглядом спрашиваю Васильчика.

— Пора, — кивает он.

Невыразимы ощущения, когда идешь по следу зверя. Не след перед тобой — интимные строки. Писались зверем для себя. С помарками. Неразборчиво. Они волнуют, они завораживают: какую строку ни возьмешь, читать — открытие! О лесе зимнем откровение, о жизни, скрытой под потогом хвои.

Писал беляк лапами, тянул строку. С передышками — здесь столбиком вытягивался, слушал тишину; здесь, у подножья ели, зеленые побеги черничника щипал, кору с тьшиной скреб. Луна сияла, невесомо кружились блестки снея, серебрился и плыл воздух, и ночь пила, и ухал сыр в дальних гуменах, собаки лаяли в деревне.

Синица поджала озябшую ножку — слышал беляк.

Иней рос, пушился на щетине хвои — слышал.

Звезда сорвалась, прочертilla гаснущую черту за края леса; крот вытолкнул из подземелья грудку влажной земли; мышка пробежала, волоча хвост, от кочки к кочке...

Слышал, видел беляк.

А сам — невидимка. Весь белый, на ушах только черные отметины да круглые на выкате глаза карие.

Хруп! Хруп! — под лапами снежок.

То ли навись сорвалась с ветки, то ли сучок тонюсенький с мороза хрупнул... Хруп! Хруп!

Одни следы выдают белячишку в лесу, где и пни, и грибы травы-таволги, позабывшей из корыто, и кучи хвороста, каждый кустик, каждая елка ему родные. Родные с того часа, как он вместе с двумя другими зайчатами появился на свет, а мать беспечно скрылась, оставив их на произвол судьбы, с глазу на глаз с чащей, супившей зеленые хвойные брови, с шумом ветра в молодой листве...

Хруп! Хруп! — по лесу.

Тян да лип — лапы по снегу.

Тянулась строчка. Бежала и складывалась с другой. Тоже аячей.

Прогалина. Древа в поленицах. Ирутьев, осинового деревенника наороняно!

Из ближних урочищ сюда, что ни ночь, сбегаются ко-

сые. Ошкуривают ветки и стволы, зубрят траву под елками, куда снег не успел с ветвей ссыпаться.

Приволье. Поели — играют. Вперегонки носятся. Прыгают. Кто и на снег лег, валяется, болтает лапами...

Чу! Стук и гром!

Зайчишки врассыпную, кто куда. Хруп! Хруп! — и стихло все.

Подходили лоси. С осени они приметили порубку с на-валенным молодым осинником и, как зайцы, собирались к ней покормиться корой.

Ночь была на исходе, и наш белячок отправился на дневную лежку. Постоянного логова у зайцев нет. Где застанет рассвет, там и спят.

Он летел длинными скачками. Без остановок. Перемахивал через валежины. Торопливый гонный бег исподволь перешел в осторожный, когда лапки ставятся кучнее, прыжки короче. Дышал беляк запаленно, вокруг круглой мордочки пар. К потным подошвам лап прилипал снег. Поустал зайчишка, стало заметно, что он прихрамывает: осенью гончие гоняли, угодил под выстрел и едва ушел с дробинами в задней левой лапке.

Забирая в сторону по частой еловой заросли, беляк сделал круг и вернулся на прежний свой след. Резво, как на пружинах, прыгнул за можжевеловый куст. Поводил ушами, встав столбиком. Шея у зайца не поворачивается, поэтому, чтобы оглядеться, он вынужден подниматься на задние лапы.

Тихо, безмолвно было в сумерках предрассветных.

Беляк заковылял дальше. Отбежав с полсотни метров, он прыжком скинулся вправо, прошел под соснами до горелого пня, где летом пастухи жгли костер, собственным следом вернулся обратно — сделал, как охотники говорят, двойку. Новый прыжок в сторону — очередная скидка. Плавно забирая влево, метров через двести еще скинулся, выписал лапами двойку, на этот раз длиннее предыдущей. Сход с двойки он замаскировал в частых, росших ершиком молодых елочках.

Крутил и петлял белячок, выписывал двойки. Последнюю он метнул под группой сосен. Зеленым половиком у подножий прутья, хвоя. Глухари кормились. Хвою клювами стригли. Черные бородачи любят зимами навещать эти сосны. Колкой мороженой иглой набивают зобы. Ветви,

макушки деревьев начали кое-где подсыхать. Одну сосну осенью сломало бурей. Высокий пень торчал расщепами. Вершина упала во мхи.

Под нею, в плотном заснеженном сплетении сучьев, как в пещерке, заяц лег на день.

Кто бы ни взялся преследовать его по следам, должен был неминуемо по крайней мере дважды пройти вблизи лежки. При этом не видя беляка. А он... Он-то и видел бы, и слышал все еще издали. Лежка выбрана отличная!

Он спал. Спал с открытыми глазами...

Лосей на порубке мы не застали: побереглись сохатые, ушли к болоту.

— Ярмарка! — Васильич весело прищуривался, был доволен, что следов на порубке много.

Он скидывал рукавицу, проверял прутиком, а то и просто голыми пальцами малики.

На морозе следы уплотняются. Первой отвердевает подошва. Объяснение не сложное: лапами зверь сбивает пухлую поверхность снега, нижние его, более теплые слои оказываются на поверхности, и мало-помалу их схватывает морозом. Чем ниже температура воздуха, тем быстреестынут следы.

Когда на сутках снег не перепадал, то новые следы от старых почти не отличимы иначе, как на ощупь.

Тут вроде детской игры. Мы водим, считай, с завязанными глазами, зайчишка-плут прячется, а следы его кричат: «Холодно... еще холодней! Тепло... тепло! Холодно-о! Теплей... еще теплей! Горячо!» Горячо-то будет, если к лежке подойдем!

Легонько, деликатно Васильич ощупывал следы. Проникая сквозь подошву свежего, предутреннего следа, палец не задерживается, идет в снег, как в воду.

— Ну, теперь имеете представление, как берут зайца из-под пальца?

Найден выходной след беляка с порубки.

Зазывно синеет тропа, и мы идем по ней. Читаем строчку. Одну в снежной книге строчку.

Рядом другие. Мышка в гости к соседке бегала — своя строка. Рябчик «с полу» походя подбирал семена, накрошенные ветром с берез, листья брусничника, ягоды клевал — опять строка. Белки наследили. Лисица мышиную

пору раскопала. Глухари ходили... Строки и строки — лесная зимняя поэма!

Скрип-скрип, — послышалось зайцу из темных глубин хвойника. Заводил ушами. Сжался.

Скрип! Скрип! Появились люди с ружьями.

Заяц не шевелился — белый комок на белом снегу. Может быть, пронесет беду?

Один человек шёл по следу в десяти метрах от лежки. Но ход к лежке от сосен, и он не становился. Скользнул взглядом по замершему зверьку и — мимо.

— Васильич, куда мне вставать?

— Держись ближе к вершине. Тут он, следите в оба.

Шепот. Скрип снега. Рыскали по сторонам пустые зрачки ружейных дул.

На какое-то мгновение люди повернулись к зайцу спиною, и этого было достаточно: белый комок ожил. Хвойная ветка, задетая лапой на прыжке, качнулась, отряхнула снег и замерла...

— Провел бесенок! — воскликнул Васильич немного погодя. — Под вершиной лежал. Но ничего, не будем отчаяваться, по правилам, он должен круг сделать. Стойте здесь, на лазу, я его шугну.

Сколько мы разбирались в жировых следах, около получаса шли по гонному малику, потом крутились по двойкам и скидкам у сосен. Время идет.

Однако делать нечего, надо ждать. Должен бы сюда вернуться косой, на гону у него в обычай закладывать круги.

Я жду десять минут. Жду дольше. Жду час.

Вернулся Васильич.

— Шалый какой-то зайчишка, — грузно сел он на пенек. Лицо красное, потное.

— Вообразите, подался к дороге. По санной колее отмахал с версту. Едва-едва я скидку его обнаружил. Бегом бегал, упрел в полуушубке, спина сырая.

Он запарился, я озяб, стоя на лазу.

«Охота пуще неволи», — все этим сказано.

А от дороги беляк ушел... на лисий след!

Тропа старая, следы отвердели. Торная тропа.

— Ловкач, — восхищался Васильич. — Отмочил номер. Косой, а соображение есть: зачем по снегу-целине себя утруждать, лучше чужим следом пройти. Пусть и лисьим!

Скакал и скакал беляк тропой лисицы и сошел с нее в густой и частой, как гребень, березовой поросли.

Петли, скидки — не скоро разберешься, что к чему. Шатый, действительно, зайчишка!

Ломим по кустам. Шум, треск. Снег с ветвей сыплется за шиворот, тает на лице, смешиваясь с едким потом.

Вылезли из кустов. Росчисть. Поленица дров.

Мы ведь на этой самой порубке утром были...

Ну и дали круг!

Хмурится Васильич. Опустившись на колено, пристально рассматривает знакомый малик. Вспухают на скулах желваки. Явно чем-то расстроен Васильич — заячья гроза.

— Что увидели? — говорю я.

— Собственно, ничего такого. Но хром наш зайчишка, поэтому и по дороге бегал, лисьим следом шел... Н-да, ни чего особенного, все в порядке вещей.

Встав с колена, он щурится на вершины елок. Розовеет снег. Солнце клонится к закату.

— Нет, нет, я ничего, — повторяет Васильич, встретившись со мной взглядом.

Ничего-то ничего, а ружье закинул за спину.

— Сегодня воскресный день, вечерние автобусы идут переполненные...

— Конечно, переполненные.

К чему он клонит?

Отступиться от зайца, потому лишь, что он хромой? Мы его не возьмем, попадет лисе в зубы, сова его скогтит. Ох уж мне эта сердобольность некстати!

— Поправится, — словно прочитав мои мысли, говорит Васильич. — Это я как ветеринар свидетельствую.

«Свидетельствую»... Высказался! Будто мы на суде!

— Приглядитесь к полениице, — продолжает он негромко. — Вон... вон! Не туда смотрите, вы пониже гляньте, там березовое полено откатилось.

Полено? Здоровущий беляк собственной персоной — вот там какое «полено» откатилось. Ловкач, нас по лесу с утра водил, соленым потом мы умывались, а плут и на глаза не попался. Санным полозом следы маскировал, на лисьей тропе лапки берег...

Да, да, лапки.

Прижался белячок к снегу. Белый комок на белом сне-

гу. Сжался, спину горбит, а больная лапка отведена в сторону.

Гоняли мы его, разбередили рану...

— Где? Какое полено? — спрашиваю я. — Ничего не вижу, Васильич.

И ружье — ну его, еще соблазнишься выстрелить — вешаю на плечо.

Запрокидываю голову:

— Шишек-то на елках, Васильич! Урожайный год!

— Потому и белки много.

— Ничего не скажешь, заяц в лесу тоже есть.

Как бы невзначай, не сговариваясь, мы оборачиваемся к поленнице спиной.

— Есть и зайчишки, — говорит Васильич. — Какие у вас планы на следующее воскресенье?

— Лес и «заяц из-под пальца»!

Через плечо я скашиваю глаза на поленницу.

Поправится наш белячок. Эк он сигнул в кусты: метра на три был у него первый прыжок! Мызгнул белячок, прихрамывая, через росчисть и был таков...



ДЕКАБРЬ — СТУДЕНЬ



Год кончается месяцем — «студенем». Мороз, по при словью, в декабре в медвежьей шубе по крышам стучит, велит печи топить, а за ним метели просят себе дела. Будет вам дело: год кончается — зима начинается!

Пряди берез в инее.

Снежной пылью забиты кудри сосен: издали красно-бурые деревья точно в белых яблоках...

Пояс желтой стылой зари. Запахи озябшей хвои. Каждый звук на морозе словно топором вырублен: вон дятел пронырял, хлопая крыльями; вон кто-то ворохнулся в хвойной густоте...

Тайга иссечена лыжнями: декабрь — разгар пушного промысла.

Волшебным колобком катится по сырчим снегам собака-лайка. Подала голос, и волнуется охотник, спешит на зов своей спутницы. Сноровка и опыт помогут разглядеть зверька, притаившегося в сплетении сучьев; мастерство — сбить его пулькой в голову и не испортить мех.

Взлаивает, коготками поскребывает лайка. Кого нашла? Белку или куницу?



Рябчик вылетел поклевать почек.

Белка...

Свешивает пушистый хвост. Серая-серая — под цвет мхов и лишайников.

Тщательен прицел. Отрывишт щелчок выстрела малока либерной винтовки.

С сучка на сучок падает белка. Клацнув зубами, пес подхватывает теплую мягкую тушку.

У глухого ручья встретятся наброды норки. Найдена лазей под лед. Охотник выбирает капкан в заплечном мешке. Протирает сталь хвоей. Он в новых холщовых рукавицах. Носит их специально для того, чтобы ставить ловчие снасти. Тронуть голыми руками капкан, дохнуть на него — ни-ни! Чутьист таежный зверь.

Если капкан установлен на верном ходу зверя, соблюденна маскировка, то наградой промысловику будет желанный трофей. В цене пушнина — «мягкое золото».

Под сувоями-сугробами спят поля, во все стороны избеганы ласками и горностаями, лисицами и хорьками. Бы-

вает, волчья стая нагрянет. В стае зверей пять-шесть, а пройдут — след в след, пята в пяту — кажется, один зверь полезеремахнул. Стерегутся волки, затаивают тропу.

В скирде соломы завелся таинственный посетитель: величиной с мышь, рыльце с тупым хоботком. Это землеройка. Ну, держись мыши! Кормится землеройка насекомыми, но коль мыши-полевки под боком, она их поубавит. Что ни ночь, то лиск, возня, погони. Что ни ночь, остаются от мышей одни шкурки!

А серые куропатки повадились в гумно. Осмелели, голод сделал бесстрашными пугливых дикарок.

Дятел оборудовал кузницу. Носит с елок шишкы к осиновому иню. Вставив шишку в расщеп, выколачивает семена. Стук! Стук! — гремит лесная наковаленка».

И если у дятла кузница, то в самом деле зима настоящая. Зима, — если в крепях, удаленных урочицах скрываются глухари; лоси перешли в осинники; крот убрался в глубокие подземные галереи...

Коротки дни. Длинны ночи.

Холодно в лесу и в поле. Холодно и голодно.

И сороки на задворках избы, и румяные снегири в палисаднике...

А синицы вдруг залетели через раскрытую форточку. Как раз на чай: дед бабушке самовар согрел. Бабушка: ах! ах! Дедушка: ах! Одна синичка, недолго думая, прицепилась к гире ходиков, вторая принялась долбить циферблат. Часы тикают, синица как крикнет: «Че-ерь!»

Нашла червяка, называется! И смех и грех...

22 декабря — день-«солнцеворот». День свету прибавляет, солнышко с зимы на лето новорачивает.

Наши деды-прадеды в этот день катали с гор колесо:

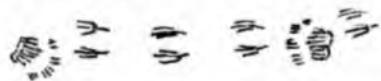
Покатилось колесо с Новгорода,
С Новгорода и до Киева,
С Киева ю Черну-морю...
Колесо, гори-катись,
С весной красною вернись!

Самое-самое-самое

Установление снежного покрова... Опять? Не поздно ли? Опять и не поздно. Потому что не так уж редко бесснежье в начале зимы. В 1944 году первый снег в Вологде увидели только 16 декабря. В Вытегре в 1949 году снежный покров установился того позже — 23 декабря. Сколько долго в декабре не было снега в 1948 и 1953 годах почти на всей территории области.

Конечно, выпадают и многоснежные декабри. Так в 1967 году на Чернозерском озере декабрьские снега достигали 61 сантиметра.

Кто, где? Куда и откуда?



МЕДВЕДЬ — лучше благоустроены, как правило, убежища медведиц. И не обязательно берлоги в глуши — наоборот, медведю, шутят охотники, зимой удовольствие слушать, как петухи поют в деревне! В 50-е годы в Вологодской области добывалось от 500 до 750 медведей. Несколько лет назад введены ограничения в охоте на этого зверя.

ЛИСИЦА — в норах только в слякоть да в стужу, и то редко. Мышкует по полям, по лугам.

КУНИЦА — из таежных зверей дает самую ценную пушину. В

год заготавливается 4500, к весне остается около 4000 кунец.

ХОРЬ — в охотничий сезон добывается в области около 1000 (остается к весне 3000).

НОРКА — кочует, так как после ледостава и выпадения снега реки на многих участках стали для нее недоступны. Придерживается полыней, промоин, незамерзающих ручьев и лесных речек. Мех высокого достоинства. Отлавливается до 3000 из общего количества зверьков в 7-9 тысяч.

ВЫДРА — численность постепенно растет (сказываются стро-

гие ограничения в промысле). Учтено в области более 2000, добывается за сезон 400-450.

ГОРНОСТАЙ — временные, часто сменяемые убежища под волнистником, в ометах соломы. Деятелен горностай преимущественно в темноте. При охоте за водяными крысами плавает и ныряет. Но всего ему роднее снег, сугробы! Сутками не выходит горностай на поверхность, как и ласка, уничтожая мышей часто больше, чем может съесть. Согласно учету, горностаев у нас 12-13 тысяч. Дает экспортную пушину (до 1,5 тыс. шкурок в год).

РЫСЬ — в сумерках и ранним утром на охоте в хвойниках с обилием рябчиков, на моховых болотах в пойменных лугах, где есть зайцы-белки. Голодная делает заходы в деревни и поселки. В области учтено 630 рысей.

БОБР — наскучивает сидеть на «консервах» — моченой коре и прутьях и, покидая норы и хатки, кормится в ивняке, валит осины. К 1959 году в Вологодчине было 306 поселений бобров на ста лесных реках. Охраняется государством.

БЕЛКА — численность зависит, главным образом, от урожайности

ти семян хвойных деревьев. В самые благоприятные годы заготавливается по области до миллиона беличных шкурок, в худшие — всего 7-10 тысяч.

ЗАЯЦ-БЕЛЯК — согласно учету, в вологодских лесах имеется до миллиона. В глубоком снегу торчит тропы. На день пристраивается где-нибудь под кустиком. Почему с открытыми глазами спит? Рад бы сокнуть веки, да век-то и нет!

РУСАК — очень мало — около 2000. Чаще встречается в полевых угодьях Междуречья, под Чебсарой, в Череповецком, Грязовецком и других южных районах.

РЯБЧИК — как и тетерев, перешел на питание березовыми почками. Делая лазы в сугробах, под снегом собирает с земли семена трав, клюет ягоды, зелень. Если начало зимы выдается холодным и малоснежным, рябчики могут гибнуть от стужи — разморозятся заполненные пищевыми зобами уносящие на деревья птицы. Насчитывается по области в пределах двухсот тысяч рябчиков. Охотники заботятся об увеличении численности их хотя бы до миллиона.

ФОРТОЧКИ

Пальцы закоченели. Спину царапают, колют ледяные иглы. Насквозь продрог. Рябчика беру на манок. Не осеню — зимой! От мороза, поди, у него перья дыбом, но горлышко не боится застудить: я пихну в дудочку раз, он отзовется трижды.

Варрикады бурелома. Лохматые ели в сивых бородах, островерхие, как колокольни. Выбеленное стужей небо. Серый впрозелен снег хвойных заснежков. И здесь — тонкий, прозрачный наигрыш свирели! Обморожены елки, на свой лад скрипят, горе мыкают. У каждой свой тягучий вздох, если ветер налетит, раскачет сучья. Но пролилась ручейком тонкая бесхитростная мелодия, такая чуждая и

этим траурным елям, и тусклому снегу, белому небу, и нет
можнатых елей с мудрыми бородами, седых от инея елей,
которые каждая порознь скрипит. Есть лес единий. Заслон
дремучий, где дерево дереву сучья тянет, как руку в беде
подает...

Когда рябчик, делая подлеты, покидал березы, стряхну-
тая с ветвей инея клубилась облачком.

Откликался рябчик и сел рядом — за хвойным засто-
ном. Не видно его. Слышу, как с ольхи сережки рвет.

Я зову в дудочку: ко мне-е... ко мне-е!

Он теперь на два-три моих приглашения пошлет одно:
«Не-ет... нет, ты ко мне», — и молчок. Хрупает, слышу,
брюснит на ольхе сережки.

Донял меня мороз. Больше терпенья нет. Скинув лыжи,
переступаю валенками, греюсь. Снег визжит, скрипит —
сухой, убродистый снег.

В переливах рябчика проступило беспокойство.

Не-ет... нет! Ты-ы ко мне! — настойчиво зовет он меня с
медной дудочкой. Общительная птица, наверное, сладкую
ольху нашла, хочет поделиться: сережки, почки на ней —
объеденье. Лети-и... лети-и! Там у тебя кто-то снегом скри-
пит, слышишь?

Я оставил засаду. Обедай он спокойно. Что же до дудо-
чек... Поверь, мы на них тоже летали. Разные, поверь, бы-
вали в жизни дудочки. Бывали и мы серенькие!

Знаю, с кормежки западет рябчик в сугроб поглубже.
Разнежится в снеговой спальне. Лыжей наедешь, тогда
взлетит. Но чтобы откликнуться тогда, пролить в суземье
свирельный ручеек, — ни-ни. За кого вы его принимаете,
чтобы он, с постели взбужденный, песенки раслевал?

Вставало солнце, хмурое, багровое. Прогалины неба меж-
сетью сучьев и пологом хвои обретали синеву. Запестрели
солнечные блики, кое-где на полянах сквозь мерзлую ще-
гину нацедило лужайки света. В тени зато ели чернее
мглились, под хвойными лапами стало еще темней и
глуше.

Мороз напускал студеный туман. Низкая хмаръ зав-
локла и небо, и лес, в котором спать каждое дерево по-своему
скрипало и вздыхало.

Снег заливал, стал пасмурным, а следы на нем пэ-
светлели: вот ласка пробежала, вот лиса.

Вот проточила окружный лаз наружу из подснежных своих покосов серая полевка...

Что-то мне везет сегодня на сереньких!

Полевка — грызун, из себя как мышь, та разница с виду, что хвост куцый. И за что ее полевкой зовут? Набегает в поля. А так в лесу живет, по крайней мере в наших краях. Что она серая, тоже этого не скажешь. Шерстка бурая, хвост снизу белый, сверху коричневый.

И повадки у нее отнюдь не серого зверька! Она приспособилась, ей зима — не зима.

Голодно? Позвольте, а кладовые! Не пусты — припрятано кое-что про черный день.

Холодно? А гнездо! Мой дом — моя крепость, может сказать о себе полевка. Снег от дыхания зверьков — держатся они колониями, кучно — подтаивает, поэтому над гнездом полевки защитный ледяной купол. Теплы стены шарообразного гнезда, выплетенного из сухой травы. На столько теплы, что зимою полевки могут обзаводиться семейством.

Житье паразитам! Все, что надо, при них. Шмыг-шмыг полевки по своим подснежным туннелям, да и домой.

Единственно плохо — душно. Для доступа свежего воздуха и прорыты в сугробах вертикальные ходы. Душно в норах, жарко — форточки настежь! Эх, ласки нет: она бы вас через эти форточки приголубила.

Приспособились, зима — не зима раздобревшим жирным и самодовольным полевкам, лесным и полевым паразитам...

Слышал я, полевки не выносят мороза. Стойт в стужу из снегу минут пять пробыть, сразу и каюк ей, оклеет.

Сегодня градусов под двадцать. То-то ни одна в форточку не высунется.

Впрочем, покараулю с места не сходя.

Зря зябнул: хоть бы одна показалась в форточку. Я бы ее лыжной палкой — и на снег.

Лыжами наследил я по колонии полевок. «Форточки» помял. Ничего, они их снова пророют. Себе на беду. Потому что в глухи лыжницами охотников часто пользуются горностаи, ласки. Так что ждите, полевки, нагрянут к вам гости незвано-непрошено!

Вдруг впереди, шагах в пяти, что-то протемнело — высунулось из снега и спряталось.

Полевка! Сейчас я шапкой ее. Поймаю, кошке унесу в гостинец. Балованная у нас кошка, мышей в глаза не видела.

Скользжу на лыжах. Тихо-тихо. Осторожно-осторожно. Шапка наготове. Ну, появись... ну же, высуни нос на мороз! Губу закусил: вынырнет полевка, а я ее в шапку.

Тут как затрепещет под снегом, поднялась белая пыль. Из нее вымелькнул, хлопая крыльями, рябчик.

Он мне показывался, а я думал — полевка. Рябчик под снегом роет, копает ход в сугробе, да нет-нет и высунется наружу. Тоже, как в форточку. Высунет головку из снега, хлебнет в форточку морозцу. Дальше копошится, угнезжаясь потеплее.

Мглисто в лесу. Туман морозный. Ели стоят неподвижно, как на часах. Ветер унялся, деревья не скрипят.

Солнце краешком выглянуло из-за лиловой тучи. В хвойном затишке высоко-высоко горит снежинка. Горит, переливается, будто смеется.

Надо мной, что ли, смеется?

Это надо же — шапкой рябчика ловил!

БУЛЬВАР

Прогисшая между нижними сучьями ели паутина раскачивает снежинки. Уцелела паутина чудом. И чудом нализались на нее ледяные, с острыми лучиками звездочки: ожерелье — глаз не отвести! Но добавься одна-другая снежинка, не выдержать паутине тяжести, рассыплется ожерелье.

Небо лиловое, размытое, поэтому и снег смутно лилов. Опускаясь на сугробы, он становится белым — густой, рыхлый снег.

По лесу разносятся крики дроздов-зимовщиков. Рябины, ягод шиповника обилие, зимовщикам заботы нет, что грянет бескорница.

Этот участок просеки, ведущей к Присухонью от деревни Ведрово, у местных жителей и приезжих охотников известен, как «бульвар». Широк бульвар, тенист и прям. Надвое разваливает ельник, залепленный снегом.

Кто-то спозаранок проехал на заливные луга за сеном, однако снегопад начисто заровнял следы лошади и полозьев.

Пробрела тетерка, мыши настрочили стежек... Немноготаки гуляющих на лесном бульваре!

Заполдень высветилось небо, снегопад иссяк. Красным кругом обозначилось солнце сквозь сиреневую дымку. Смотрю я: на сугробе что-то шевелится. Не поленился наклониться. Да это бабочка! Вживе-вздраве бабочка в декабре, на снегу!.. Между прочим ничего особенного. Если бабочка — пяденица. Буро-желтые пяденицы выводятся из куколок не летом, а как раз зимой, в декабре.

Как говорится, у каждой Машки — свои замашки.

Возвращаясь домой, еще издали я увидел лису. Она трусила по следу полозьев, задумчиво, в рассеянной мечтательности опустив мордочку книзу.

Я замер. Известно, на неподвижные предметы ни зверь, ни птица не трятят внимания.

Черные-черные ели в розоватых пятнах нависи, бурый придорожный бурьян, белый острый клин просеки и алый цветок лисьего меха на снегу...

То ли собаки ее с лежки спугнули — с утра слышался шум гона и выстрелы, — то ли надумала, что на луговинах легче мышами разживиться, но держит путь определенно на Присухонскую низину.

Горжетка сама идет в руки! Кабы у меня патроны в стволах были с крупной дробью...

«Возможно, успею перезарядить?» — спохватился я и потянулся к патронташу. Этого движения достало, чтобы лисица заметила меня, метнулась с бульвара — и была такова.

Кричали дрозды. Раскатисто, гулко отдавались в лесу удары дятла. И в дроздиных криках, и в стукотне дятла мне чудилось:

— Прозевал! прозевал! прозевал!

Ладно, довольно вам. Подумаешь, прозевал! Как-никак бульвар, хоть и лесной. Гуляют по нему, чистым воздухом дышат. А шум, пальба — к чему это? На бульваре-то!

НА РАЗВЕДКЕ

Пал недавно иней мглистой ночью. Серебряным чеканом засверкали наутро тяжелые шлемы бора, тронула седина великаны кудри. Одинокая березка в полях накинула кружевную фату. Пригорюнясь, печально опускала плаку-

чие ветви. Что, не Морозко ли тебя высватал? За старого идти неохота?.. А бурьян при дороге, тот вовсе на себя был непохож. Каждая былинка в пышном инее — точь-в-точь плюмаж из страусовых перьев. Подавляло это великоление. Причудливость снежных узоров казалась показной и неестественной, и думалось: рано нынче пришла зима.

Но дожнул ветер и во всю хвойную силу зазеленел сосновый бор. Сбросила березка фату, растрепала косы, как беспечная девчонка. И бурьян стал как бурьян — рыжие бодылья.

Ни блесток, ни сверканья. Серое небо с лиловой каймой по горизонту. Синяя полоса леса вдали. Санный след к стогу. След по белому-белому полю...

Я медленно иду занесенной снегом тропой — из полей на берег реки.

Повечерело. Снега засинели, одна лента реки, стесненной крутыми берегами, все белеет и белеет. Река богата ключами, над промоинами закурился пар, наславаясь в тающие облачка. Знать, подмораживает к ночи.

Вдруг что-то темно-буровое приземистое шевельнулось поодаль на обрыве. Мелькнули длинный хвост, плоская усатая морда, короткие лапы. Зверь проворно скользнул вниз. Я успел разглядеть, что скатился он на боку и, вильнув хвостом, как рулем, скрытый снежной пылью, юркнул в трещину заберега.

Выдра... Нежелательная, скажем, встреча! Я пришел разведать, где можно поставить крючья на налимов. Рыбалку предвкушал. Но если выдра... О, это рыболов, с каким тягаться не берись. Чем увальни-налимы, выдра запросто ловит и стремительных хариусов, и закованных в золотую кольчугу сильных язей. Она-то уж поубавит рыбки в реке!

Я побежал к обрыву. По отпечаткам следов, вернее, по их немногочисленности, главное, по тому, что снег, где лежала выдра, подтаял, заключить было нетрудно: зверь провел на обрыве добрый час. Провел в неподвижности. Он подпустил меня близко и скрылся подо льдом как бы нехотя.

Ясно, чего ради забиралась выдра на высокую кручу: она разведывала новый водоем, на котором появилась, быть может, вчера. Она высматривала сверху полыни и трещи-

ны в заберегах. Высматривала и запоминала, чтобы ночью на охоте попусту не тратиться на поиски лазеек под лед.

Выдра — угрюмый и необщительный с плоскими холодными глазами зверь.

Но вот долгоночко-таки она провела здесь, на высокой круче!

Я огляделся вокруг. И улыбнулся:

— А что? Тут есть что посмотреть!

Над полями зарделась заря. Яркие желтые и багровые ее полосы наливались огнем. И сугробы заалели, и бerezка вспыхнула румянцем, и столбы дыма над кровлями деревни тянулись столбами вверх. Рыжими на фоне неба столбами...

— — —

ОГЛАВЛЕНИЕ

Январь — весне дедушка	5
Самое-самое-самое	8
Кто, где? Куда и откуда?	—
Серая пушинка	10
Непокорная быстрина	11
Судья	14
Февраль — бокогрей	23
Самое-самое-самое	26
Кто, где? Куда и откуда?	—
Снеговик	27
Оляпка	29
Пересеченья троп	31
Март — позимье	42
Самое-самое-самое	45
Кто, где? Куда и откуда?	46
Анютины глазки	47
Гренадерки	48
Парикмахеры	50
Апрель — красная горка	51
Самое-самое-самое	53
Кто, где? Куда и откуда?	54
Проталинка	56
Дыхание	58
Глухаринные ночи	59
Май — травень	72
Самое-самое-самое	75
Кто, где? Куда и откуда?	—
Медуница	78
Зеленый прибой	79
Под майскими звездами	81
«Хорошие ребята»	82

Июнь — июль	90
Самое-самое-самое	94
Кто, где? Куда и откуда?	94
Желторотик	95
Тетеревишка школа	97
За синей птицей	98
Июль — зеленая страна	115
Самое-самое-самое	118
Кто, где? Куда и откуда?	—
Соседи	120
Балерина	122
Колодцы	123
Фонарик	125
Август — межняк	126
Самое-самое-самое	129
Кто, где? Куда и откуда?	—
Едома	131
От дождя да в воду	132
Повестка	133
Засада	134
Сентябрь — новосел	139
Самое-самое-самое	142
Кто, где? Куда и откуда?	—
Рыжики	143
Кораблики-невидимки	146
Красные сережки	147
Катом и подкатом	149
Октябрь — листобой	155
Самое-самое-самое	157
Кто, где? Куда и откуда?	—
Сапожное шильце	159
Калинка	—
Медок в сапожках	161
Ромашка	—
Черная рада	162

Ноябрь — ледовый кузнец	175
Самое-самое-самое	178
Кто, где? Куда и откуда?	—
Сквозняки	179
С легким паром!	181
Чистота	183
По грибы	185
Конькобежец	—
«Из-под пальца»	186
Декабрь — студень	195
Самое-самое-самое	198
Кто, где? Куда и откуда?	—
Форточки	199
Бульвар	202
На разведке	203

**Иван Дмитриевич Полуянов
ЗА СИНЕЙ ПТИЦЕЙ**

Фото автора

Редактор Е. Ф. Богданов
 Художник О. А. Бороздин
 Художественный редактор В. С. Вежливцев
 Технический редактор С. И. Соколова
 Корректор А. А. Фонтейнес

ГЕ00119. Сдано в набор 19. 5. 1969 г. Подписано к печати 22. 10. 1969 г.
 Формат 60×84/16. (Бумага типографская № 3). Бумажных листов 6.6.
 Печ. л. 13. Уч.-изд. л. 10.935. Тираж 30 000. Заказ 4013. Цена 47 коп.

Северо-Западное книжное издательство.
 Архангельск, пр. П. Виноградова, 76.

Областная типография, г. Вологда, ул. Калинина, 3.